

Александр Степанович Грин

Знаменитая книга



Александр Грин
Знаменитая книга

«Public Domain»

Грин А. С.

Знаменитая книга / А. С. Грин — «Public Domain»,

«Маленькая экспедиция, одна из тех, о которых не принято упоминать в печати, даже провинциальной, делала лесной переход, направляясь к западу. Кем была снаряжена и отправлена экспедиция, – геологическим комитетом, лесным управлением или же частным лицом для одному лишь ему известных целей, – неизвестно. Экспедиция, состоявшая из четырех человек, спешила к узкой, глубокой и быстрой лесной реке. Был конец июля, время, когда бледные, как неспавший больной, ночи севера делаются темнее, погружая леса и землю – от двенадцати до двух – в полную темноту. Четыре человека спешили до наступления ночи попасть к пароходу, – маленькому, буксирующему плоты, судну; речная вода спала, и это был тот самый последний рейс, опоздать к которому равнялось целому месяцу странствования на убогом плоту, простуде и голодовкам. Пароход должен был отвезти одичавших за лето, отрастивших бороды и ногти людей – в большой, промышленный город, где есть мыло, парикмахерские, бани и все необходимое для удовлетворения культурных привычек – второй природы человека. Кроме того, путешественников с весьма понятным нетерпением ждали родственники...»

Содержание

Глухая тропа	5
Человек, который плачет	9
Четвертый за всех	12
Она	18
Зимняя сказка	25
Кошмар	32
Ксения Турпанова	39
Маленький заговор	49
Малинник Якобсона	67
Тайна леса	71
Тихие будни	75
Циклон в Равнине Дождей	87

Александр Грин

Знаменитая книга

Глухая тропа

I

Маленькая экспедиция, одна из тех, о которых не принято упоминать в печати, даже провинциальной, делала лесной переход, направляясь к западу. Кем была снаряжена и отправлена экспедиция, – геологическим комитетом, лесным управлением или же частным лицом для одному лишь ему известных целей, – неизвестно. Экспедиция, состоявшая из четырех человек, спешила к узкой, глубокой и быстрой лесной реке. Был конец июля, время, когда бледные, как неспавший больной, ночи севера делаются темнее, погружая леса и землю – от двенадцати до двух – в полную темноту. Четыре человека спешили до наступления ночи попасть к пароходу, – маленькому, буксирующему плоты, судну; речная вода спала, и это был тот самый последний рейс, опоздать к которому равнялось целому месяцу странствования на убогом плоту, простуде и голодовкам. Пароход должен был отвезти одичавших за лето, отрастивших бороды и ногти людей – в большой, промышленный город, где есть мыло, парикмахерские, бани и все необходимое для удовлетворения культурных привычек – второй природы человека. Кроме того, путешественников с весьма понятным нетерпением ждали родственники.

Лес, – тихий, как все серьезные, большие леса, с нескончаемыми озерами и ручьями, давно уже приучил участников экспедиции к замкнутости и сосредоточенному молчанию. Шли они по узкой, полузаросшей брусничкой и папоротником, тропке, протоптанной линиями глухарями, зайцами и охотниками. По манере нести ружье угадывался, отчасти, характер каждого. Штуцер бельгийской фирмы висел на прочном ремне за спиной Афанасьева, не болтаясь, словно прибитый гвоздями; Благодатский нес винтовку впереди себя, в позе человека, всегда готового выстрелить, – это был самозабвенный охотник и любитель природы; скептик Мордкин тащил шомпольное ружье под мышкой, путаясь стволом в кустарнике; последний из четырех, с особенным, раз навсегда застывшим в лице выражением спохватившегося на полуслове человека, – не давал своему оружию покоя: он то взводил курок, то вновь опускал его, вскидывал ружье на плечо, тащил за ремень, перекаладывал из левой руки в правую и наоборот; звали его Гадаутов. Он шел сзади всех, насвистывал и курил.

Дремучая тропа бросалась из стороны в сторону, местами совершенно исчезая под слоем валежника, огибая поляну или ныряя в непроходимый бурелом, где в крошечных лучистых просветах розовели кисти смородины и пахло грибом. Лиственница, ель, пихта, красные сосны, а в мокрых местах – тальник, – шли грудью навстречу; под ногами, цепляясь за сапоги, вздрагивали и ломались сучья; гнилые пни предательски выдерживали упор ноги и рушились в следующий момент; человек падал.

Когда свечерело и все, основательно избив ноги, почувствовали, что усталость переходит в изнеможение, – впереди, меж тонкими стволами елей, показалась светлая редина; глухой ропот невидимой реки хлынул в сердца приливом бодрости и успокоением. Первым на берег вышел Афанасьев; бросив короткий взгляд вперед себя, как бы закрепляя этим пройденное расстояние, он обернулся и прикрикнул отставшим товарищам:

– Берем влево на пароход!

Все четверо, перед тем как тронуться дальше, остановились на зыбком дерне изрытого корнями обрыва. Струистая, черная от глубины русла и хмурого неба поверхность дикой реки

казалась мглой трещины: гоняясь за мошкаррой, плавали хариусы; тысячетлетняя жуть трущоб покровительственно внимала человеческому дыханию. Ивняк, закрывая отмели, теснился к реке; он напоминал груды зеленых шапок, разбросанных лесовиками в жаркий день. Противоположный, разрушенный водой берег был сплошь усеян подмытыми, падающими, как смятая трава, чахлыми, тонкими стволами.

– Никогда больше не буду курить полукрупку, – сказал Гадаутов. – Сале мезон, апизодон, гвандилье; варварский табак, снадобье дикарей. Дома куплю полфунта за четыре рубля. Барбезон.

Его особенностью была привычка произносить с окончанием на французский лад бессмысленные, выдуманные им самим слова, мешая сюда кое-что из иностранных словарей, засевшее в памяти; вместе это напоминало сонный бред француза в России.

– Прекрасно, – отвечая на свои мысли, сказал Мордкин. – Поживем, увидим.

Постояв, все двинулись берегом. Справа, неожиданно показываясь и так же неожиданно исчезая, прорывался сквозь ветки сумеречный блеск реки; изгибаясь, крутясь, делая петли, тропинка следовала ее течению. Временами на ягольнике, треща жирными крыльями, взлетала тетерка, беспокойно кричали дрозды, затем снова наступала тишина, баюкающая и тревожная. Благодатский увидел белку; она скользила по стволу сосны винтом, показывая одну мордочку. Когда прошел еще один короткий лесной час, и все кругом, затканное дымом сумерек, стало неясным, растворяющимся в преддверии тьмы, и сильнее запела мошкара, и небо опустилось ниже, Афанасьев остановился. Наткнувшись на него, перестали шагать Благодатский, Мордкин и Гадаутов, Афанасьев сказал:

– Мы заблудились.

II

Он сказал это не возвышая и не понижая голоса, коротко, словно отрубил. Тотчас же все и сам он испытали ощущение особого рода – среднее между злобой и головокружением. Конец пути, представляемый до сих пор где-то поблизости, вдруг перестал даже существовать, исчез; отбежал назад, в сторону и исчез. После недолгого молчания Мордкин сказал:

– Так. Излишняя самонадеянность к этому и приводит. Это все левые Афанасьевские тропинки.

– «Левые» тропинки, – возразил Афанасьев, резко поворачиваясь к Мордкину. – открыты не мною. Маршрут записан и вам известен. От Кушельских озер по еженной дороге четыре версты, тропинками же – семь поворотов влево, один направо, и еще один влево, к реке. Чего же вы хотите?

– Это значит, что мы где-то сбились, – авторитетно заявил Благодатский.

– А где же пароход?

– Черт скушал, – сказал Гадаутов. – Может быть, позади, может быть, впереди. Мы шли верно, но где-то один из семи прозевали, пошли прямо. Куда мы пришли? Я не знаю – Пушкин знает! Пойдем, как шли, делать нечего. Нет, погодите, – крикнул он вдруг и покраснел от волнения, – ей-богу, это место я знаю. Ходил в прошлом году с Зайцевым. Видите? Четыре дерева повалились к воде? Видите?

– Да, – сказал хор.

– Карамба. Оппигуа. Недалеко, я вам говорю, недалеко, даже совсем близко. – Уверяя, Гадаутов резко жестикулировал. – Отсюда, прямо, как шли, еще с версту, – не больше. Я помню.

Он выдержал три долгих, рассматривающих его в упор, взгляда и улыбнулся. Он верил себе. Афанасьев покачал головой и пошел быстро, не желая терять времени. Гадаутов шел зади, жадно и цепко осматриваясь. Место это казалось ему одновременно знакомым и чуж-

дым. Глинистая отмель, четыре склоненные к воде дерева... Он рылся в памяти. Миллионное царство лесных примет, разбросанных в дебрях, осадило взвихренную его память ясно увиденными корягами, ямами, плесами, гарями, вырубками, остожьями¹, дуплами: собранные все вместе, в ужасающем изобилии своем, они составили бы новый сплошной лес, полный тревожного однообразия.

Черная вода справа открывалась и отходила, поблескивала и пряталась за хвойной стеной; от ее обрывистых берегов и мрачных стрежей веяло скрытой угрозой. Через несколько минут Гадаутов снова увидел четыре тонкие ели с вывернутыми корнями – двойник оставленной позади приметы. А далее, как бы издеваясь, потянулся берег, сплошь усыпанный буреломом; подкошенные водой и ветром стволы нагибались подобно огромным прутьям, и трудно было отличить в этих местах один аршин берега от соседнего с ним аршина – все было похоже, дико и зелено.

– Куда мы идем? – спросил Мордкин, оборачивая к Гадаутову лицо, вымазанное грязным потом пополам с кровью раздавленных комаров. – Парохода нет и не будет! – Он взмахнул ружьем и едва не швырнул его на землю. – Я ложусь спать и не тронусь с места. Я более не могу идти, у меня одышка! Как хотите...

Излив свое раздражение, он хлопнул рукой по вспухшей от укусов шее и, шатаясь на дрожащих ногах, тихо пошел «перед. Гадаутов, не отвечая Мордкину, исчез где-то в стороне и, наполняя лес медвежьим треском, вернулся к товарищам. Лицо его дышало светлой уверенностью.

– Если бы не моя память, – сказал он, тоскливо чувствуя, что лжет или себе, или другим, – то, клянусь мозолями моих ног, не знаю, что стали бы делать вы. Поперечный корень под моими ногами, выгнутый кренделем, то же, что пароход. Это место я помню. Мы скоро придем.

Искренний его тон смыл расцветающие на бледных лицах кривые улыбки. Ему никто не ответил, никто не усомнился в его словах: верить было необходимо, сомнение не имело смысла. Глухие сумерки подгоняли людей; обваренные распухшие ноги ступали как попало, вихляясь в корнях; угорелые от страха и изнурения, четыре человека шли версту за верстой, не замечая пройденного; каждое усилие тела напоминало о себе отчетливой болью, острой, как тиканье часов в темной комнате.

– Пришли, – сонным голосом произнес Мордкин и отстал, поравнявшись с Гадаутовым. Гадаутов прошел мимо, то, чувствуя на спине тяжесть, отскочил в сторону, а Мордкин скользнул по его плечу и плашмя упал в кусты, согнувшись, как белье на веревке; это был обморок.

– Эй. – сказал Гадаутов, чуть не плача от утомления и испуга, – остановитесь, бараны, потеряем полчаса на медицину и милосердие! Он упал сзади меня. Анафема!

III

Идти за водой не было ни у кого сил. Афанасьев, положив голову Мордкина себе на колени, бесчеловечно тер ему уши; Мордкин вздохнул, сел, помотал головой, всхлипнул нервным смешком, встал и пошел. Через пять шагов Афанасьев схватил его за руку, взял за плечи и повернул в другую сторону. Очнувшись, Мордкин пошел назад.

– Скоро придем, – тихо сказал Гадаутов. – Темно; это пустыки; держись берегом у воды. Вы знаете, чем я руководствуюсь? Рядом стоит двойной пень, я шел тут в прошлом году.

Все спуталось в его голове. Иногда казалось ему, что он спит и сквозь сон, стяхивая оцепенение, узнает места, но тут же гасла слабая вера, и отчаяние зажимало сердце в кулак, наполняя виски шумом торопливого пульса; однообразие вечернего леса давило суровой новизной, чуждой давним воспоминаниям. Время от времени, различив в чаще прихотливый изгиб

¹ Остожье – площадка для стога, скирды, усланная соломой.

дерева или очень глубокую мургу², – он как будто припоминал их, думал о них мучительно, сомневаясь, убеждаясь, воспламеняясь уверенностью и сомневаясь опять. На ходу, задыхаясь и выплевывая лезущих в рот мошек, он устало твердил:

– Как я вам говорил. Вот бревно в иле. Осталось, я думаю, не совсем много. Скоро придем.

Один раз в ответ на это раздался истерический взрыв ругательств. Все шло быстро и молча; срываясь, шаг переходил в бег, и за тем, кто бежал, пускались бежать все, не рассуждая и не останавливаясь. Слепое стремление вперед, как попало и куда попало, было для них единственным, самым надежным шансом. Сознание вытеснялось страхом, воля – инстинктом, мысль – лесом; словесные толчки Гадаутова напоминали удар кнута; смысл его восклицаний отзывался в измученных сердцах таинственным словом: вот-вот, здесь-здесь, сейчас-сейчас, там-там.

Никто не заметил, как и когда исчез свет. Мрак медленно разбил его на ничтожные, слабые клочки, отсветы, иглы лучей, пятна, теплящиеся верхушки деревьев, убивая, одного за другим, светлых солдат Дня. Мгла осела в лесную гладь, спланила в яркую черноту краски и линии, ослепила глаза, гукнула филином и притихла.

Идти так, как шли эти люди дальше, можно только раз в жизни. Разбитый, истерзанный, с пылающей головой и пересохшим горлом, двигался человек о четырех головах, на четвереньках, ползком, срываясь, тыкаясь лицом в жидкую глину берега, прыгая, давя кусты, ломая плечом и грудью невидимые препятствия, человек этот, лишенный человеческих мыслей, притиснутый тоской и отчаянием, тащил свое изодранное тело у самой воды еще около часа. Сонное журчание реки перебил, голос:

– Кажется, сейчас мы будем на месте. Еще немного, еще!

Это сказал Гадаутов, усиливаясь сделать еще шаг. Руки и колени не повиновались ему. Затравленный тьмой, он упал, сунулся подбородком в землю и застонал.

В этот момент, оглушая четырехголового человека потрясающим холодом неожиданности, нечеловеческий, пронзительный вой бросился от земли к небу, рванул тьму, перешел в певучий рев, ухнул долгим эхом и смолк.

Крики с берега, ответившие гудку парохода, превзошли его силой сумасшедшей радости и жутким, хриплым, родственным голосом зверей. Падая на мостки, но пытаясь еще пустить в ход подгибающиеся колени, Гадаутов сказал:

– Я говорил. И никогда не обманываю. Же пруга д'аржан.

² Мурга – провал, яма.

Человек, который плачет

– Не может быть...

– Вы шутите...

– Это арабские сказки.

– Однако это так... Повторяю... мне тридцать пять лет, и я до сих пор не знаю женщины.

Человек, взбудораживший наше мужское общество таким смелым, исключительно редким заявлением, стоял прислонившись к камину и сдержанно улыбался. Голубые, холодные глаза его смотрели без всякого смущения и, казалось, ощупывали каждое недоверчиво и любопытно смеющееся лицо.

Однако солидные манеры этого человека, интеллигентная внешность и спокойная уверенность голоса произвели впечатление, выразившееся в том, что возгласы утихли и в физиономиях отразилось напряженное, тоскливое ожидание целого ряда анекдотов и пикантных повестушек, приличествующих случаю.

После короткой паузы доктор Клушкин, человек очень нервный, очень веселый и очень несчастный в личной жизни, выпрямил скептически поджатые губы, потянул носом и пристально посмотрел на девственника. Тот вежливо улыбнулся и коротко повел широкими плечами, как бы сознавая свою обязанность дать в данном случае надлежащие объяснения.

– Я с большим удовольствием слушал ваш разговор, – сказал этот господин, представленный нам хозяином под фамилией Громова, – и теперь действительно жалею, что молодость моя прошла... сухо. Собственно говоря, к чему бы делать мне такое признание. Но бывают минуты, когда случайные стечения обстоятельств, случайный разговор, анекдот зажигают желания и дразнят тело, наполняя его бессознательным тяготением к этой стороне человеческой жизни, жгучей, таинственной и...

– Да, но позвольте, – сухо перебил доктор, нервно ерзая на стуле и вскидывая пенсне повыше. – Вы говорите, что вы... ну, одним словом... вполне.

– Совершенно.

– И – никогда?

– Всецело.

– Ни-ни..?

– Могу вас уверить в этом.

Доктор вдруг побагровел, прыснул и хихикнул так громко, что сконфузился сам. Снисходительно улыбнулись остальные.

Дело происходило в курительной комнате богатого инженера, после хорошего обеда и основательной выпивки. Дамы перешли в гостиную, а мы, люди тугого кошелька и веселого расположения духа, удалились сюда, отчасти для пищеварения, отчасти для того, чтобы выкурить по сигаре и поболтать, пока не приготовят столы для карт. Надо сказать, что заявление Громова пришлось как нельзя кстати. Запас нескромных анекдотов уже иссякал и теперь явилась большая надежда воскресить угасавшее оживление...

– Скажите... э-э... – спросил доктор, отделившись от душившего его смеха: – вы развиты нормально?

– Да.

– Влюблялись?

– Конечно.

– И...

– Как видите.

Сказав это, Громов отряхнул пепел сигары на каминную решетку и полузакрыв глаза. Доктор встал, шумно отодвинул стул, подошел к Громову и, взяв его двумя пальцами за пуговицу сюртука, сказал печальным подвыпившим голосом:

– Вредно-с. Вы расстраиваете себя, свой организм, губите умственные способности...

Да-с...

– Ну что же, – улыбнулся Громов, – видно уж так мне на роду написано...

– Но, – сказал худой плешивый фельетонист, похожий на картонного Мефистофеля, – но... почему же? Это же странно... Красивый, здоровый человек, умный...

– О, – смутился Громов, и лицо его приняло виноватый оттенок, – дело очень просто...

Я не имею успеха.

– Да, – обрадовался толстый учитель, заикаясь и причмокивая. – Я пп-они-мм-аю вас...

Вв-ы... ззз-астенчивы... а-а... жж-енщины... этт-ого н-не-ллю-ббят...

– Да. Я застенчив и, представьте, застенчив как-то болезненно. Одна мысль о том, что мне могут засмеяться в лицо, обливает меня с ног до головы холодным потом.

– И..? – хихикнул фельетонист.

– Ну... и идешь себе прочь.

Все дружно расхохотались.

– А я хотел бы, – вздохнул Громов. – Хотел бы знать, что такое страсти, супружество, весь этот особый таинственный мир, скрытый от меня...

– Позвольте, – заволновался пивовар, жирный и необычайно кроткий человек с глазами навывкате. – Если вы хотите – я...

Он, грузно пыхтя, протискался между стульев и, подвалившись к Громову, таинственно зашептал ему что-то на ухо. Физиономия пивовара выражала сладостное и блаженное самоуглубление в тайны жизни. Громов серьезно усмехнулся и кивнул головой раза два. Но у пивовара, когда он отошел, в кротких масляных глазах изображалась полная огорошенность.

Художник сидел, все время склонив на бок черную, кудрявую голову, и в его покрасневшем от вина лице таилось вдохновенное глубокомыслие. Вдруг он встряхнулся, ударил рукой по колену и закричал:

– Меня убили. Ха-ха. Убили. Ну, ей богу же, я не вру... Женщины. Женщинами полон свет. Они везде. Они как воздух, как вода, везде, на улицах, площадях, в театрах, подвалах, кафе. В церквях, лугах и лесах. На крышах. На чердаках. На башнях. На колокольнях. Под ногами, над головой. И вы не знаете женщины?.. А... Чудеснейшего, любопытнейшего, святейшего, развратнейшего существа в мире вы не знали? А духи вы нюхали? Цветы целовали? В лесу гуляли? Наконец – ели, пили, спали? Так как же вы не знаете женщины..?

Он остановился, перевел дыхание и посмотрел на Громова, стараясь придать взгляду торжественную строгость, но это не удалось. Его пухлые, румяные губы расплывались в жизнерадостную улыбку, а глаза лукаво смеялись лукавыми блестками.

– Пойдите, – воскликнул доктор. – Это ненормальность, несправедливость. Как так. Да есть же, наконец, женщины... жрицы любви. Хе. Что вы, в самом деле...

Громов пожал плечами.

– Боюсь, – сказал он. – Ну, что вы будете делать.

– Да-а, – протянул фельетонист, ковыряя в зубах, – вы того... действительно незадачливый... Ну, а как... в теории-то... вы представляете... того...

– Д-да, конечно... но... Я как-то избегал вообще всякого общества и... Вообще, у меня большие пробелы в этом отношении...

– Слушайте, господа, – сказал доктор, воодушевляясь и подымая вверх пухлый, белый палец, – вот перед нами человек который... не смеется, а... плачет. Но, клянусь вам, в моей практике был такой случай...

Захлебываясь и горячась, он рассказал нам своим скрипучим, нервным голосом историю о том, как он заставил жениться одного человека, дав ему прочесть скабресный роман.

Рассказ то и дело прерывался громкими одобрительными возгласами. Но после этого фельетонисту тоже захотелось рассказать что-нибудь из этой области, и он, еле дав доктору кончить, пустился в необыкновенное фантастическое повествование о бесчисленных совращениях, романах, изменах во всех частях света.

Скоро заговорили все. Сочинялись небывалые истории, никем и никогда не слышанные анекдоты; упоминались имена несуществовавших женщин, сверхтрогательные идиллии и любовные объяснения, в которых рассказчик неизменно участвовал сам, соблазнял, похищал и покупал. Присутствие человека, никогда не знавшего женщины и, следовательно, завидующего всякому поцелую, полученному другим мужчиной, действовало прищипывающим образом. Каждый хотел, чтобы ему, именно ему, а не другому, завидовал Громов; чтобы его, именно его, рассказчика, женщины, рожденные фантазией в необычайном количестве, – казались желанными, прекрасными и доступными только тому, кто сочинил их.

Прошло немного времени, и пол, казалось, был сплошь усыпан осколками разбитых невинностей и супружеских честей. И только тогда, когда лакей пришел доложить, что столы готовы и нас, скромных отшельников, просят пожаловать – родник эротической поэзии иссяк. Забытый Громов стоял у камина и докуривал сигару.

В глазах его сверкало живейшее, искреннее любопытство.

– Так вот, батенька, – сказал доктор, подмигивая и тыча Громова в жилет указательным пальцем, – такое дело... Ну, идемте... Ну, идемте... А кстати, я представлю вас Нине Алексеевне... да вы ее знаете... Нет? Ба, простите, совсем забыл, что вы приезжий... Ну – это... знаете, я вам доложу... По секрету: три года назад хотел из-за нее стреляться... Как честный человек...

Все тронулись и, войдя в гостиную, увидели несколько новых, незнакомых лиц, а между ними – и женщин.

А когда навстречу Громову поднялась красавица в белом шелковом платье и крепко пожала его почтительно протянутую руку, Громов сказал, улыбаясь и смотря в сторону...

– Господа... позвольте представить... моя жена.

Я с некоторым любопытством посмотрел направо и налево. Там, где секунду назад стояли фигуры наших недавних собеседников, – виднелись окаменевшие, шире обыкновенного раскрытые рты.

И только учитель спросил, беспомощно двигая челюстями:

– Кк-ак..? Вв-а-шш-а жж-ена..?

Четвертый за всех

I

Кильдин, Крыга и Иванов сидели в кафе. Все они были давно знакомы, давно надоели друг другу, но тем не менее каждый вечер проводили вместе три-четыре часа, сходясь как бы случайно. На самом же деле каждый уже с утра, если не искал, то думал об остальных, забегал в ресторанчики, оглядывая ряды поднятых с бокалами рук, наконец попадал в кафе, здоровался, улыбался, и через минуту уже думал про себя, что говорить им троим не о чем.

Так и было. Но в этот раз Крыга пришел навеселе. От него пахло вином и бриллиантинном: он получил деньги. Обыкновенно неразговорчивый, хроникер разошелся. Он умел, когда хотел этого, оборвать анекдот на интереснейшем месте, прищуриться на шелковую юбку ночной бабочки, обвести чмокающих губами слушателей застывшим взглядом и расцвести снова, увлекая за собой в мир похотливого смешка и ужасающего простотой солдатского остроумия. Спор его был меток и зол, рассказы о пережитом – картинны, остроты принадлежали к числу тех, над которыми смеются, подумав.

Устав, он посмотрел в стороны. Из зеркала в зеркало металась фигуры проходящих людей, имеющих обманчивый вид сытой и благообразной толпы, цветы шляп женщин бросались в глаза более, чем неживые их лица; у телефона, поглядывая на часы, толпились смуглые молодые люди, а три ряда мраморных столиков держали в одной плоскости, как бы разрезая пополам, сидящую обкуренную толпу. Из булочной шел запах горячего хлеба и отпотевшего сахара.

– Крыга, а у тебя деньги есть? – сказал Иванов.

– Есть.

– Поедем!

– Куда?

– Да хоть бы на поплавок.

Иванов расточительным жестом бросил из жилетного кармана на стол рубль.

– Это тебе в долю. И напьемся.

Крыга почесал нос.

– Я бы поехал, – сказал он, – да мне нужно... Ах, вот что: кто эта дама? Смотри, пожалуйста: от голубой шляпы и розового лица кудри ее кажутся синими.

– Ты зубы заговариваешь, – нетерпеливо вздохнул Кильдин, – а здесь душно, выйдем на воздух. Человек, получите. Сколько? Чай – десять, верно, папиросы и лимонад – двадцать пять... а разве я кофе пил? Да, да, по-варшавски... да, да... это возьмите себе... Ну, вот и все.

– Человек, – с достоинством подхватил Иванов, – сколько с меня? Сельтерская с сиропом – пятнадцать, папиросы – десять... кулебяка? Кулебяка... Пятачок ваш.

Пока двое рассчитывались, Крыга смотрел в сторону. Злобная, тоскливая скука охватила его. Это кафе он знал десять лет, сотни вечеров судорожной, грошовой, ломаной жизни прошли здесь, между стаканом чая и папиросой, профессиональной улыбкой девушек и сосаньем набалдашника палки, и вдруг, как у школьника от затянувшегося урока, бросился в ноги зуд, нервное нетерпение и тревога тела, утомленного бесцельным сидением.

– Ну, идем, что ли, – вскакивая, сказал Крыга, – здесь, как в горячем тесте: липнешь и мокнешь.

Не зная еще по слабыхарактерности, куда попадет: на иллюминированный поплавок к белой под утро реке, или домой, в тишину уснувшего здания, Крыга с Ивановым и Кильдиным вышел на улицу.

II

Шествие совершалось в молчании. Кильдин думал, что Крыга, уклоняющийся от поплавок, просто не понимает прелестей жизни. Иванов размышлял о делании шара клопштоссом³ через весь биллиард, о женщинах, знакомых и незнакомых, проходящих мимо и существующих в его воображении. Крыга скучал.

– Мухи дохнут, – сказал он, – изобретем что-нибудь.

– Все изобретено, – мрачно возразил Иванов.

– На поплавок надо идти, – с худо скрываемым раздражением произнес Кильдин.

Трамвай с шумом рассекал воздух. Еще видя невидное людям солнце, блестела адмиралтейская игла, городовые чинно подымали белые палки, и множество – среди всяких других – двигалось над тротуаром нежных лиц женщин с равнодушно смотрящими глазами, чистых в своей неизвестности, ярких и безответных.

Приятели шли, замедляя шаг; им некуда было торопиться, и они не знали, куда идут. Крыга почти с ненавистью взглянул на шагающего рядом Иванова и остановился.

– Куда идем? – сказал Крыга. – Мне что-то не по себе. Я, видимо, протрезвел. С души воротит. Что мы будем делать на поплавке? Выпьем графин водки? Общение душ устроим? Тайну неба похитим? Прекрасную незнакомку встретим? Графин, два графина, три графина, – хочешь ты сказать, Иванов... Допустим – три. Мы, черт его знает, – монстры какие-то. Нам всем вместе неполных сто лет, здоровья для Петербурга довольно, дураками тоже не назовешь, а ведь над нами любой богомолке заплакать не оскорбительно.

– Для разнообразия и я на эту тему поговорить люблю, – сказал, зевая, Кильдин, – да ведь все это не настоящее...

– Ты идиот, – перебил Иванов, – тут как-то в рассеянной толкучке этой ловишь по частям вечное. Раздражает – да, не удовлетворяет – да, а все-таки здесь ближе к себе, понимаешь, чувствуешь свою сущность.

– А вот что, – сказал Крыга, – выйдем из шаблона хоть раз, побродим в одиночку... Натее вам по пяти рублей, обойдите вы от зари полгорода: может, хоть вас автомобиль переедет, – все-таки интереснее.

– А что же! – лукаво, но горячо, в тон Крыге, произнес Иванов. – Сделаться на час искателем приключений! Давай деньги, дорожные расходы необходимы.

Кильдин, приободрившись, протянул руку.

– И мне, – сказал он. – Но ведь ты придумал интересную штуку, Крыга... Только знаешь что? Дай мне еще рубль, я тебе завтра отдам.

– Нет! – уже увлеченный случайной своей выдумкой, вскричал Крыга. – Ведь может же быть что-нибудь.

На миг каждый поверил этому, – тон голоса Крыги прозвучал детской верой в дракона. И каждому из них дракон был необходим, как воздух и хлеб; дракона же не было, лишь в зоологическом саду крылатое из картона туловище дышало горячей паклей, а Брунгильда⁴ Ляпкова держалась за хребет чудовища безопасней, чем за ременную петлю трамвая.

³ Клопштосс – название удара в игре на билиарде.

⁴ Дракон, Брунгильда – персонажи древнегерманского эпоса «Песнь о Нибелунгах».

Миг, как всякий миг, кончился скоро, оборвался на голубой вспышке проволоки; ни говорить, ни думать об этом более не хотелось; однако, еще будучи в плену выдумки, Крыга сказал:

– И я бродячую бессонницу делить буду. До завтра в кафе! Если б хоть одному из нас повезло!

Поговорив немного, все трое разошлись в разные стороны. Иванов, сжимая в кармане и в кулаке золотой, подошел к углу, с перехваченным радостью горлом купил двадцать пять штук папирос, взял под руку жизнерадостную брюнетку, позвал извозчика, сел и поехал.

Кильдин, бессознательно улыбаясь, вышел к Пассажу, понял, что жить радостно и легко, взял под руку задорно болтливую блондинку, позвал извозчика, сел и поехал.

Крыга сказал себе своими словами: «Ерунда пришла в голову: нет приключений, городок глух, нем и жесток» – остановил печальную рыженькую, раздумал, сказал: «Прощайте», позвал извозчика, сел и поехал спать.

Взвесив шансы на интерес, последуем мы за ним.

III

По дороге домой Крыга думал о прелести черных ночей юга, блаженстве темноты, когда, забывая свет, мирно отдыхает натруженное за день тело, а глаза спокойно, не вглядываясь, остаются открытыми.

Белый, без улыбки и блеска свет томил город глухим раздражением ночи, лишенной своего естественного лица – мрака. Извозчик сидел понурясь. Он спал, а просыпаясь, – зло дергал вожжами и бормотал что-то непонятное.

Наконец, он остановился, а Крыга, слезая у железных ворот дома, где жил, испытал ту небольшую радость суетливого горожанина, когда после коварных, но деловых, пустых, но нужных свиданий, посещений и встреч возвращается он домой, к постели и книге.

Щелкнув французским ключом, Крыга вошел в переднюю, а потом в комнату. Представляя, как Иванов и Кильдин обходят глухие набережные, мосты, заплатаемые вывесками переулки, где кошки с деловым видом обнюхивают тумбу, а женщины в нижних юбках, сжимая под накинутой шалью пустые бутылки, перебегают дорогу, Крыга невесело усмехнулся. Приятели думают о нем то же самое, а он – изменник, но результат – ясно – один. Те двое тоже придут домой, – дальше идти некуда.

В комнате было светло, как на рассвете. Крыга подошел к настезь открытому окну, куря папироску. Тихий лежал внизу двор, а впереди, чередуясь с зеленью берез и лип, тянулись хребты крыш. Золоченые купола церквей казались в отдалении туманным рисунком. Где-то стучала машина электрической станции.

«Хорош Петербург, – подумал Крыга, – люблю я этот чудесный город, сам не знаю за что. Может быть, потому – что он, как истинное сокровище, не знает и не ценит себя сам; это русский Париж, русская в нем душа, и весь он похож на то, как будто остановился живой человек с высоко поднятой головой, забродило в ней столько, что и сил нет сделать все сразу, дышит тяжело грудь; грустно и хорошо».

В этот момент с Невы, ухая в отдаленных улицах резкими вздохами, вылетел к окну крыши гибкий, поражающий даже привычное ухо странностью звука, пронзительный вопль сирены. Прошла минута, в течение которой Крыга старался согласовать бессознательно тихое свое настроение с тревожным криком реки, и вдруг за стеной слева, – так неожиданно, что журналист, не успев опомниться, вздрогнул и затрясся всем телом, – раздался долгий оглушительный вопль, точное подражание стальной глотке.

Вопль стих, возвратилась разбитая на мгновение вдребезги испуганная тишина, а Крыга еще стоял, как человек, смытый за борт, захлебывался испугом и вздрагивал. Сильное биение

сердца удерживало его на месте; взяв себя в руки, Крыга выбежал на цыпочках в коридор и, потянув соседнюю дверь, взглянул в щель. За спиной стула на столе лежал голый локоть. Тотчас же рука пошевелилась, стул отодвинулся; молодой, в одном нижнем белье, человек подкрался босиком к двери, остановился в двух шагах от нее и принялся, наклонив слегка голову, нервно тереть маленькие усы.

Крыга и он стояли друг против друга, лишь случайно не встречаясь глазами. Лицо неизвестного – так как, по-видимому, это был новый жилец, которого Крыга еще не видел, – лицо это выражало крайний предел загнанности и угнетения. Сильно блстели глаза; рот с опущенными углами сжимался и разжимался, словно в него попал волос, и человек движениями губ стремился удалить раздражающее постороннее тело.

– Да он повесится, – сказал Крыга, – надо войти туда. – И вызывающе постучал.

Неизвестный, выпрямившись, отбежал к столу, сел и, сунув руки между колен, уставился на дверь таким полным страха и тоски взглядом, как если бы сейчас должен был вкатиться локомотив. Не дожидаясь ответа, Крыга отворил дверь и вошел.

К его удивлению, сосед поднялся с изменившимся выражением лица, немного сконфуженного, но улыбающегося той улыбкой, когда человек знает, что ему скажут, Крыга, притворив дверь, сказал:

– Вы, пожалуйста, извините, но я подумал, что с вами случилось бог знает что... Я прямо не в состоянии был сидеть в комнате. Что такое? Меня зовут Крыга.

– Пафнутьев, – сказал молодой человек, – у меня бессонница, я в дезабилье⁵, прошу извинить.

– Мне показалось... – взволнованно начал Крыга, пристально, с немного жутким чувством смотря на Пафнутьева, – что это самое... вы... расстроены, вероятно?

Пафнутьев покорно и виновато улыбнулся, отводя взгляд. Сидел он, согнувшись, в такой позе, как если бы был разбит параличом, но не желал показывать этого.

– Вот не знаю. Не передашь. В этой сирене какое-то заразительное отчаяние.

Наступило молчание. Маленький растрепанный человек сидел перед Крыгой и улыбался.

– Вы откуда?

– Из Рязани, – сказал Пафнутьев, – я здесь три месяца.

– Учитесь?

– Да. Студент.

– А знакомые у вас есть?

– Нет.

– Как нет? – удивился Крыга. – Чтоб в Петербурге не завелись знакомые?

– Да нет же! – упрямо и сердито повторил Пафнутьев. – Нет никого. Я людей боюсь, – с неловкой искренностью прибавил он, – так вот сжимаешься, сжимаешься, да нет-нет, кто-нибудь и уязвит, и тогда одно отвращение.

– А родственники есть?

– Нет.

– Совсем нет?

– Совсем нет, – весело улыбаясь, подтвердил Пафнутьев.

– Вам надо лечиться, – серьезно сказал Крыга, – что же это, ведь пропадете так?

– Пропаду, – вдруг зло и глухо бросил Пафнутьев; вскочив, он быстро забегал по комнате, шлепая босыми ногами. – Да, нервы расстроены, денег нет! И черт их дери, пропаду, так пропаду... А зачем жить? Скучно, холодно... Холодно, – остановившись и подергивая, как от озноба, плечами, повторил он.

– Да вы идите, вам спать нужно, я уж не закричу.

⁵ В дезабилье (франц. deshabelle) – не вполне одет.

– Ах, милый, – сказал Крыга, – слушайте, я вам валерьянки дам. Хотите? Уснуть-то ведь нужно.

– Не надо мне валерьянки, – сказал Пафнутьев, забегал, суетясь руками по незастегнутому вороту рубашки, остановился и, посмотрев рассеянно на Крыгу, прибавил: – Валерьянки?.. А дайте, отлично.

Крыга, торопясь, вышел, плотно закрыв дверь. В полутьме коридора разбуженные криком и разговором жильцы высунулись из дверей, притаив дыхание; видны были только заспанные, обеспокоенные лица и руки, придерживающие дверь.

– Что там? – шепотом спросила курсистка с усиками.

– Да маленькое приключение, – сказал Крыга, – так, городская мелочь, шелуха жизни; человек пропадает – только и всего.

Курсистка сделала озабоченное, недоумевающее лицо.

– Что с ним, припадок?

– Нет, насморк. Я ему валерьянки дам.

Когда Крыга вошел снова, Пафнутьев, кутаясь в одеяло, сказал:

– Черт его знает, еще погонят отсюда.

– Зачем? – сказал Крыга. – Скажите, что во сне кошмар был. Полсотни накапайте. Уснете.

– Усну. Спасибо.

Крыга сунул ему графин и ушел спать. За стеной было тихо. – «Нет, теперь не уснешь, – собираясь раздеваться, сказал Крыга, – гвоздем засел в голове крик, весь дом насторожился после него. Так вот что...»

Он взял шляпу, вышел на улицу и, чувствуя с некоторым удовольствием, что есть законный предлог по случаю бессонницы выпить, исчез в ресторане.

IV

Франтоватый, выпавшийся Кильдин, увидев Крыгу, лениво взмахнул бровями, как бы говоря: «да, вчера пошалили, а впрочем, ничего особенного» – сосредоточенно поздоровался, корректно сел, сдвинув колени, высморкался и развалился на стуле, погрузив большие пальцы рук в верхние карманы жилета.

– Мало сегодня в кафе народа, – сказал Кильдин. – А где Иванов?

– Нет Иванова, – усмехнулся Крыга, – он придет, а ты расскажи.

– Что?

– А что вчера говорили.

Кильдин гордо вздохнул.

– О, есть приключения и приключения, – веско сказал он, – но ты, жестокий материалист, хочешь фактов.

– Факты, конечно, были, – серьезно, с завистливым, вытянутым лицом произнес Крыга, – я знаю все: ты встретил солнечную женщину, прелесть девической мировой души, и сказкой прошла ночь.

– Почти, – нагло сказал Кильдин, – но это все вне фактов, это особенное: улыбка, жест и полное соединение взглядами.

– Здравствуйте, – сказал, роняя стул, Иванов. – Я так торопился; если бы вы знали...

– Знаю, – подхватил Крыга, – улыбка, жест и полное соединение взглядами.

– Это о чем? – холодно спросил Иванов.

– Она была спелого золотистого цвета, – невозмутимо продолжал Крыга, – ее несло по течению вниз с нимбом над головой, ты спас ее, а потом снял носки и повесил их на Тучковом мосту; солнышко высушит.

– Я буду пить черный кофе, – сказал Иванов и нахмурился. – Но ты, Крыга... ты, кроме шуток, что вчера делал?

– Да все то же. – Крыга зевнул, говоря. – Удел тут один, братцы, – улыбка, жест и полное соединение взглядами.

Она

I

У него была всего одна молитва, только одна. Раньше он не молился совсем, даже тогда, когда жизнь вырывала из смятенной души крики бессилия и ярости. А теперь, сидя у открытого окна, вечером, когда город зажигает немые, бесчисленные огни, или на пароходной палубе, в час розового предрассветного тумана, или в купе вагона, скользя утомленным взглядом по бархату и позолоте отделки – он молился, молитвой заключая тревожный грохочущий день, полный тоски. Губы его шептали:

«Не знаю, верю ли я в тебя. Не знаю, есть ли ты. Я ничего не знаю, ничего. Но помоги мне найти ее. Ее, только ее. Я не обременю тебя просьбами и слезами о счастье. Я не трону ее, если она счастлива, и не покажусь ей. Но взглянуть на нее, раз, только раз, – дозвожь. Буду целовать грязь от ног ее. Всю бездну нежности моей и тоски разверну я перед глазами ее. Ты слышишь, господи? Отдай, верни мне ее, отдай!»

А ночь безмолвствовала, и фиакры с огненными глазами проносились мимо в щелканье копыт, и в жутком ночном веселье плясала, пьянея, улица. И пароход бежал в розовом тумане к огненному светилу, золотившему горизонт. И мерно громыхал железной броней поезд, стуча рельсами. И не было ответа молитве его.

Тогда он приходил в ярость и стучал ногами и плакал без рыданий, стиснув побледневшие губы. И снова, тоскуя, говорил с гневом и дрожью:

– Ты не слышишь? Слышишь ли ты? Отдай мне ее, отдай!

В молодости он топтал веру других и смеялся веселым, презрительным смехом над кумирами, бессильными, как создавшие их. А теперь творил в храме души своей божество, творил тщательно и ревниво, создавая кроткий, милосердный образ всемогущего существа. Из остатков детских воспоминаний, из минут умиления перед бесконечностью, рассыпанных в его жизни, из церковных крестов и напевов слагал он темный милосердный облик его и молился ему.

Миллионы людей шли мимо, и миллионы эти были не нужны ему. Он был чужой для них, они были для него – звук, число, название, пустое место. Один человек был ему нужен, один желанен, но не было того человека. Все многообразие лиц, походок, сердец и взглядов для него не существовало. Один взгляд был нужен ему, одно лицо, одно сердце, но не было того человека, той женщины.

Печальная ласка сумерек изо дня в день одевала его лицо с закрытыми глазами и голову, опущенную на руки. Вечерние тени толпились вокруг, смотрели и слушали мысли без слов, чувства без названия, образы без красок.

Открывались глаза человека, спрашивая темноту и образы, и мысли без слов толпились в душе его.

Тогда говорил он словами, прислушиваясь к своему голосу, но одиноко звучал его голос. А мысли без слов и образы опережали слова его и, клубом подкатывая к горлу, теснили дыхание. И тени сумерек слушали его жалобу, росли и темнели.

– Я один, родная, один, но где ты? Не знаю. Каждый день бегут мимо меня вагоны с освещенными окнами, люди видны в окнах, они поют, смеются или едят. Но тебя нет с ними, родная!

И пароходы, гиганты с бесчисленными глазами, пристают в гавани каждый день, там, где ослепительно горит электричество и движется плотная, черная толпа. Сотни людей идут по сходням, радуются и грустят, но тебя нет с ними, родная!

Грохочут улицы, вывески ресторанов сверкают, как диадемы, и катит людские волны безумный город. Молодые и старые, мужчины и женщины, школьники и проститутки, красавицы и нищие идут мимо, толкают меня и смотрят, но нет тебя с ними, родная!

Я ишу и хочу тебя, хочу ласки твоей, хочу счастья. Я уже не помню как смеешься ты. Я забыл запах твоих волос, игру губ. Я найду тебя. Я бегу за каждой женщиной, похожей на тебя, и, нагнав, проклинаю ее. Жажда томит меня, и высохла моя грудь, но нет тебя. Отзовись же, найдись. Сядь на колени ко мне, щекой прижмись к моему лицу и смейся как раньше, золотом солнца, радостью жизни. Я укачаю, убаюкаю тебя на руках, распушу твои волосы и каждый отдельный волосок поцелую. Я спою тебе песенку, и ты уснешь.

Шли минуты, часы, и звонко бегал маятник, отбивая секунды в живой, мучительной тишине. А он все сидел, очарованный страданием, качаясь из стороны в сторону. И вот из страшной, черной глубины души кто-то, на блоках и цепях, начинал подымать груз невероятной тяжести. От усилий неведомого существа кровь прилиwała к вискам, стучала и говорила торопливым, безумным шепотом. А тоска металась, острыми крыльями била в сердце, и с каждым ударом крыла хотело крикнуть, застонать сердце, готовое лопнуть, как гуттаперчевый⁶ шар. А груз подымался, скрипя, все выше, и медленно прессовал грудь, выгоняя воздух из легких, и ворочался там острыми гранями.

Он сжимал руками голову и, с дрожью напрягая тело, гнал прочь нечеловеческую тяжесть. А груз – воспоминание – все рос, двигаясь, как лавина и звенел забытыми словами, розовым смехом, радостью смущенных ресниц.

Он кричал:

– Не хочу! Не надо!

Но каждый раз, обессиленный, снова и снова видел во весь рост то, что бывает однажды, что не повторится ни с ним, ни с другим, ни с кем, никогда...

II

В саду темно, сыро и хорошо. Три дня он не виделся с ней и теперь пришел трепещущий, довольный и робкий. Под их ногами хрустел песок, и казалось в темноте, что она улыбается, смеется над его любовью, видит ее и думает. От этого волнение еще больше мучило его, и тягостным становилось молчание.

Они сели: он отодвинулся от ее колен, боясь, что прикосновение взволнует его любовь и бессвязными, тяжелыми словами вырвется наружу. Тогда надо будет уйти. Кончится все, и нельзя больше будет видеть ее. Так думал он за пять минут перед самыми счастливыми минутами своей жизни.

– Я вчера ждала вас, – сказала девушка, – и третьего дня ждала, и сегодня. Но вы не приходили. Разве так поступают с друзьями?

Ласковое ожидание слышалось в ее голосе, а ему оно казалось насмешкой, и от этого горькое, обидное чувство мешало дышать. Поборов волнение, он грубо и раздражительно сказал ей:

– Зачем ждали. Разве не все равно вам?

В темноте он почувствовал, как лицо девушки побледнело и сделалось замкнутым от его грубости, как глубокими и печальными стали глаза. Помолчав немного, она сказала с трудом:

– Если вы... я не знаю. Если вам все равно – конечно... Пройдемтесь. Скучно сидеть.

⁶ Гуттаперчевый – из затвердевшего млечного сока некоторых деревьев, близкого по своим свойствам к каучуку.

Но уже жалость к себе, к ней, раскаяние и умиление перед своею любовью охватили его. Не зная сам, как – он взял ее руки – горячими и бесконечно милыми были маленькие, тонкие пальцы – и сказал, сперва мысленно, а потом вслух:

– Милая! Милая! Простите меня!

Настало молчание. Казалось, что ему не будет конца. Но уже близилось могучее биение радости. Играла ли в это время музыка, пел ли кто – он не помнит. Кажется, стало светло и тягостно-сладко. Она не отняла своих рук, и он сам благоговейно и осторожно выпустил ее пальцы. Стучало ли его сердце, пел ли кто – он не помнит.

И девушка – его возлюбленная, его радость, встала, и он – без слов, понимая каждое ее движение, пошел за ней, в ее комнату, и там долго, со слезами смотрел, смотрел на ее покрасневшее лицо, ставшее вдруг близким-близким, бесконечно простым и добрым. Она смеялась и говорила, а кружево на ее груди трепетало, как бабочка.

– Скажите мне: «Я люблю вас!»

Он повторял, стыдливо и смущенно:

– Я люблю вас! Люблю вас! Нет – тебя люблю!..

Она засмеялась, отвернувшись, а он смотрел на ее плечи, вздрагивающие от смеха, на край розового, маленького уха, обвитого русой прядкой волос. Как-то он подошел к ней, обнял сзади за плечи и шею и вздрогнул от прикосновения теплого, трепетного тела. Она крепко прижалась маленьким, круглым подбородком к его руке и глядела прямо перед собой, в стену, счастливыми, нервно-блестящими глазами. А он спросил:

– Можно мне обнять тебя?

Она засмеялась еще сильнее неслышным, коротеньким смехом. Засмеялась оттого, что он такой смешной: сперва обнял, а потом уже спросил позволения...

III

Так сидел он часами, но груз страшной тяжести висел в его душе, груз с бледным лицом и шутиливо-ласковым взглядом. Тогда он вставал и шел в темные, извилистые закоулки города, где пьяное мерцание красных фонарей с разбитыми стеклами освещает грязные булыжники и тонет в блестящих, вонючих лужах. За столиками, где пируют матросы со своими возлюбленными и хриплый хохот заглушает ругательства и женский плач, садился и он, пил вино, смотрел и слушал, как страшный груз опускается ниже, а лицо девушки с русыми волосами тонет в клубах едкого табачного дыма.

Вверху медленно двигалась ночь, звезды описывали полукруг с востока на запад, и розовый рассвет придвигал сонное лицо свое к разбитым, подслеповатым окнам кабака. Говор вокруг становился тише, ниже опускались к столам опьяневшие тела, и лохматые, рыжие головы ложились на плечи подруг. А его тело становилось чужим, и казалось ему, что голова живет отдельно от тела, бросая тупые крохи сознания в бледную полумглу.

Или он заходил в рестораны, где красивые, сверкающие зеркала неумолимо повторяли движения седого человека с молодым, загорелым лицом. На мраморных столиках белели девственно чистые скатерти, сверкая снежными изломами складок, румянец плодов алел в хрустальных вазах, и море яркого света дрожало и плыло в звуках бесшабашных мелодий огненными, острыми точками. Огромные, цветные шляпы женщин с нахальными улыбками колебались вокруг. А люди в черном целовали их руки, красные губы, полные плечи, вздрагивая и пьянея от удовольствия.

И снова сонный рассвет придвигал розовое лицо свое к матовым узорным окнам и восковыми, мертвенными тенями покрывал лица людей. В свете наступающего дня они казались призраками, обрывками сна, уродливыми и жалкими. Блестело последнее золото, последние посетители в смятых манишках, в шляпах, сдвинутых на затылок, расплачивались и уходили, а

он сидел, и пустым казался ему наступающий день, пустым и ненужным, как бутылки, стоящие на столе. Дыханием его было страдание, и молитвой была тоска его.

IV

С тех пор прошло пять лет.

Пять лет прошло с того дня, когда он в первый раз обнял ее и сказал: «Можно обнять тебя?» Пять лет.

Из крепости он вышел седой. Ни письма, ни привета он не получил за эти три года, ничего. Его содержали, как важного государственного преступника, и ни одно известие о ней не всколыхнуло его сердце. Людям, посадившим его в тюрьму, не было дела до его страданий; они служили отечеству.

О жизни своей в эти три года он всегда боялся вспоминать и с ужасом приговоренного к смерти вскакивал ночью с постели, когда снилось, что он снова в тюрьме. Помнил только, что с грустью мечтал о пытках тела, существовавших в доброе старое время, и жалел, что не может своим изорванным, окровавленным телом купить свидание с ней. Раньше это было можно, в то доброе старое время.

Когда его выпустили, оправданного, он стал искать ее. Огромность задачи не поставила его в тупик. Но следы ее исчезли, и никто не мог сказать ему, где она. В мире людей, среди которых он жил, связи и знакомства непрочны, как самая жизнь этих людей. Приходят одни, уходят, приходят другие и снова бесследно теряются в шуме и холоде жизни. Исчезают, как ночная роса в утренний час.

Но упорно, неотступно, как мученик – смерть, как ученый – великую идею, он искал ее, день за днем, месяц за месяцем, разъезжая по городам, за границей, везде, где мог ожидать встретить ее. Но не было того человека, той женщины.

Он спрашивал ее везде, в отелях, гостиницах, адресных столах я клубах, библиотеках и союзах. Кельнеры и гарсоны, половые и чичероне⁷ вежливо выслушивали его, когда, стараясь казаться хладнокровным и рассеянным, он спрашивал их, прислушиваясь к ответу всем телом, с тоскою и ужасом:

– Скажите, здесь не останавливалась Вера N? Из России? Она из России, русская.

В лице людей, слушавших его, мелькало озабоченное, деловитое выражение. Они бежали куда-то, рылись в больших книгах с золотыми обрезам, в кипах листов и журналов, и каждый раз, бегая глазами по его загорелому лицу и седым волосам, говорили виновато-ласковым голосом:

– Вера N. Нет, мсье. Госпожи с этой фамилией у нас не было.

Чем дальше спрашивал он, тем труднее становилось говорить чужим, равнодушным людям имя, священное для него. И начинало казаться, что тайна его – уже не тайна, что выползла она из сокровенных тайников и неслышной тенью стелется по земле, из уст в уста, из мозга в мозг, передавая его муку, его любовь. С ненавистью смотрел он тогда в зеркало на свое лицо, проклиная измученные, угрюмые черты, не доверяя им, как скряга слугам, берегущим сокровище. Если б лицо его стало каменной маской – ему было бы легче. Тогда ни один мускул, ни одно дрожание век не выдали бы тоски его. Все труднее было ему спрашивать о ней, и казалось, что смех дрожит в глазах людей, отвечавших ему, что знают они его тайну и носят из дома в дом, хватая грязными пальцами, – сокровище, его любовь и молитву.

Шло время, весна пестрела цветами, лето синело и ширилось, желтела плакучая осень, стыла и серебрилась зима. Но не было того человека, той женщины.

⁷ Чичероне (итал. *cicerone*) – гид, проводник, дающий объяснения туристам.

– Где ты? Где ты? Я распушу твои волосы, я слезами омою их. Слезами чистыми, как любовь, как тоске моя. Я буду целовать следы ног твоих...

V

Иногда он приводил к себе женщину и запирался с ней. Являлись слуги, ставили на стол все, что требовала она, часто голодная и нетрезвая, и скромно уходили, неслышно ступая мягкими, дрессированными шагами. Он пил, оглушая себя, женщина садилась против него, охорашиваясь и оголяя локти. Снимала шляпу с цветными, красивыми перьями, трепала его по щеке и говорила:

– Давай чокнемся. Ты, душечка, сердитый? Отчего так?

Но он молчал, а женщина смеялась преувеличенно громко, думая, что не нравится ему. Садилась к нему на колени и двигалась телом, стараясь зажечь кровь. Наливала ему и себе, он пил и слушал, как падают за окном дождевые капли. Иногда смотрел на нее и говорил:

– Зачем ты сняла шляпу? Она тебе к лицу.

– Я люблю рыбу под белым соусом, – говорила женщина. – Не надеть ли мне еще калоши, дружок? Я в комнате не ношу шляп.

Потом он брал ее за руки и долго молча целовал их. Она сидела тихо, но вдруг, вырываясь, вскрикивала обиженным, визгливым голосом:

– Ревет! Вот дурак!

– Не нужно... – бормотал он, качая головой, полной кошмарного бреда. – Не нужно. Разве ты – она?

Шли минуты, часы; женщина, пьянея, прижималась к нему все крепче и болтала без умолку, хохоча, вскидывая вверх толстые ноги в ажурных чулках. Он становился перед ней на колени и просил робким, умоляющим шепотом:

– Погладь меня... Ну, погладь же... Приласкай... Крепче, крепче обними меня. Вот так. Еще крепче. Милый я, – милый, да?..

Она заливалась звонким неудержимым хохотом, сверкая зубами, и тормошила его, крепко стискивая полными, нагими руками шею человека с загорелым лицом. Слова ее прыгали по комнате, отскакивая от его сознания, возбужденные, громкие:

– Ах ты, мой старичок! Бедняжка! Есть же такие на свете, господи!..

Кто-то гасил свет: темнота обнимала их, и в темноте он покрывал голое, горячее тело поцелуями, безумными и нежными, как счастье. Прижимался к ней. Терся лицом о лицо, трепеща от тоски и боли. Зарывал лицо в темные, пахучие волосы и думал, что это она, его возлюбленная, его радость.

Ночь шла, и ширилась, и закрывала стыдливым покровом опустошенную душу пьяного человека, и несла отдых красивой, продажной женщине. И снова розовый рассвет придвигал сонное лицо свое к занавескам, одевая мертвенным светом спящих людей.

День идет равнодушный и шумный. День за днем рождается и умирает, но нет ее. Но нет того человека, той женщины.

VI

Улицы становились пустынее, глуше; торопливо стучали шаги одиноких прохожих. Откуда-то и как будто со всех сторон двигался отдаленный грохот экипажей, катившихся на людных улицах. В окнах, блестящих скупым светом, скользили тени людей, и мир, скрытый стеклами, убогий внутри, с улицы казался таинственным и глубоким.

С тех пор, как он вышел из веселого и громадного подъезда, прошел, вероятно, час. Двигаясь во всевозможных направлениях, пересекая площади и пустыри, терпеливо проходя длин-

ные улицы и угрюмые переулки, он изредка останавливался, соображая, что сбился с дороги, затем опускал голову и, моментально забывая, где он, – шел снова, без определенного плана, без цели, погруженный в глубокое раздумье. Прохожие уступали ему дорогу, так как он не уступал ее никому, даже женщинам, потому что не видел их. Ноги устали, болели ступни и сгибы колен, он чувствовал, но не сознавал этого. Нищий, попросивший у него милостыни, получил в ответ:

– Не знаю. Я забыл часы дома.

Неожиданно, поворачивая за угол, в безмолвии и темноте вечерней улицы, он заметил кучку людей, толпившихся на ярко освещенном тротуаре, и тут же забыл о них. Через несколько шагов ему крикнули прямо в лицо хриплым и назойливым голосом:

– Приглашаю господина взять билет! Франк, франк, только один франк! Все новости Америки и Парижа!

Как человек, разбуженный внезапным, грубым толчком, он вздохнул, поднял голову и осмотрелся.

Прямо перед ним, на шестах, украшенных лентами и флагами, висела холщовая вывеска, освещенная электрическим светом. На ней было написано красными, затейливыми буквами, по белому фону: «Театр». Слева и справа этого слова чернели грубо нарисованные руки в манжетах, с указательными пальцами, протянутыми к буквам вывески. У широких, распахнутых дверей дощатого здания, испачканного обрывками афиш, висел лист белой бумаги. Он подошел и стал читать.

«Неожиданное приключение». «Добывание мрамора в Карраре». «Индейцы и Ков-Бои»...

Кругом теснились мальчишки и толкали его, засматривая в лицо. Усталость одолевала его. Человек, кривой на один глаз, в рыжем котелке и клетчатом кашне ходил по тротуару, мокрому от дождя, выкрикивая безразличным гортанным голосом:

– Один франк! Только один франк! Начинается! Спешите и удивляйтесь! Все новости, все новости! Франк!

Колокольчик в его пальцах неумоимо дребезжал мелким, бессильным звоном. Человек с загорелым лицом подошел к прилавку и купил билет у сонной, толстой женщины с напудренными плечами. Отодвинув драпировки, он сделал несколько шагов и сел на стул.

Вокруг сидело десять – двенадцать человек, преимущественно рабочие и мелкий торговый люд. Они сидели согнувшись, зевая и усиленно рассматривая разноцветные плакаты развешанные на стенах, обитых зеленой с красными полосами материей. Перед экраном сидел тапер, старик с красным носом и артистически-длинными серыми волосами. Его тщедушная фигура в изношенном сюртуке сотрясалась от ударов по клавишам, извлекая жалкие, прыгающие звуки танца.

За стеной еще раз продребезжал колокольчик и внезапно погас свет. Маленькая девочка с большими глазами громко и таинственно сказала матери:

– Мама, они хотят спать?

– Тсс! – сказала болезненная женщина, ее мать. – Сиди смирно.

– Петушки, – сказала девочка, увидя появившуюся на экране фабричную марку. – Мама, петушки?

Но петушки скрылись. Серая улица с серыми домами и серым небом встала перед глазами зрителей. Беззвучная, теневая, серая жизнь скользила по ней. Издалека двигались экипажи, конки, росли, делались огромными и пропадали.

Шли люди с корзинами, покупками, смеялись серыми улыбками, кивали, оглядывались. Бежали собаки и лаяли беззвучным лаем. Казалось, что внезапная глухота поразила зрителя. Двигается жизнь, но беззвучна она и мертва, как загробные тени.

Из кондитерской вышел мальчик и, весело подпрыгивая, направился с корзиной, полной пирогов, к поджидавшему его маленькому товарищу-трубочисту. Они идут, жадно уничтожая пироги заказчика, довольные и счастливые.

Едет автомобиль. Шофер не видит, что маленький сорванец уже примостился сзади между колес и весело болтает босыми ногами, вздымая пыль.

– Он поехал, – сказала девочка и тронула за плечо мать. – Мама, он поехал, тот мальчик!..

– Молчи, – сказала женщина. – А то придет трубочист и унесет тебя.

Идут люди, смотрят вслед уезжающему сорванцу и смеются. Женщина в большой соломенной шляпке с мешочком в руках остановилась, оглядывается и смотрит, как невидимый зрителю фотографический аппарат записывает биение жизни.

VII

Он вскочил, зарыдал, крикнул и бросился вперед, теряя сознание.

– Она!

Она – его солнце, его жизнь. Родная! Ее грустная, милая улыбка. Ее лицо, похудевшее, тонкое. Движения! Все!

Она – схваченная игрой света. Прямо в душу смотрят ее глаза, в его потрясенную, задышающуюся душу. Тень от шляпки упала на его лицо. Остановилась! Пошла!

Долгий, пугающий крик убил тишину и потряс стены театра. Он бросился, побежал к ней, уронив шляпу, расталкивая прохожих, побежал, задыхаясь, с лицом, мокрым от слез. Десять, пятнадцать шагов расстояния...

– Вера! Вера!

Женщина обогнула решетку сада и остановилась, удивленная криком. Он догнал ее, сотрясаясь от плача, взял на руки, поднял как ребенка, поцеловал...

Она испугалась, побледнела... Узнала! Узнала. Прижалась к нему. Безумие счастья, жгучего, как нестерпимая боль, развернуло свои крылья, осенив их. Все утонуло, пропало. Только они – их двое...

Кто-то схватил сзади и грубо потянул в сторону. Он обернулся, слепым, пораженным взглядом обвел улицу и чужих перепуганных людей, отрывавших его от чуда, сокровища и молитвы.

Огненный снег завертелся перед глазами, и кто-то огромный, тяжелой гирей ударил в сердце. Стало темно. Два маленьких рыжих петуха выскочили по бокам, сверкнули красными, косыми глазами и исчезли. Поплыл тягучий, долгий звон, усилился, стих и замер.⁸

Когда потащили к выходу тело, ставшее вдруг таинственным и враждебным для всех этих живых, перепуганных людей, – маленький, горбоносый субъект с грязным галстуком и черными глазами сказал человеку, звонившему в колокольчик:

– Я заметил его еще раньше... Он не взял сдачи – вы подумайте – с пяти франков!..

⁸ В полной редакции отсутствуют строчки, которые есть в газетной публикации. После слов «Поплыл тягучий, долгий звон, усилился, стих и замер» следовало: «И долго, целый час после этого, не оживал в игре света экран маленького театра. А потом снова, мелко и бессильно, задрезжал колокольчик, вздрагивая и умирая тупым зовом в осенней мгле».

Зимняя сказка

Ты сейчас услышишь то, о чем спрашиваешь.
Редклиф

I

Ранний морозный вечер незаметно проступил в бледном небе желтой звездой. Улица стала неясная, снег – мглистый; скрипели, раскатываясь на поворотах, сани; редкая ярмарочная толпа сновала у балаганов: купцы-самоеды, мужики в малицах, бабы и девки; возле галантерейной лавки хмельной парень размахивал кумачовой рубахой; над калиткой кое-где болтались прибитые гвоздиками куньи и горностаевые шкурки: пушная торговля; мерзлые говяжьи туши, задрав ноги вверх, войском стояли на площади.

Ячевский, с целью занять три рубля, пришел в город из подгородной деревни, зашел в несколько квартир, но денег нигде не добился, остановился на углу, думая, к кому бы зайти еще, наконец, смерз, повернул в переулок и поднялся в верхний этаж гнилого деревянного дома. У обшарпанной двери, облизываясь, подобострастно мяукала кошка; Ячевский пустил ее, хотел войти сам, но женский голос сказал: – «Кто там, нельзя». Ячевский притворил дверь и громко, отчего слабый его голос стал похож на тонкий голос спросившей женщины, крикнул:

– Я это, Ячевский: можно?..

За дверью начался спор, женщина испуганно спрашивала: – «где же мне... где же мне», – а быстрый, злой голос мужчины твердил: – «ну, выйди, я тебя прошу... слышишь... надо же мне принимать где-нибудь». Слово «принимать» звучало мелочной болью и желанием произвести впечатление. Наконец, дверь открыл длинноволосый с лицом раскольника человек в синей, низко подпоясанной блузе, сказал быстро: «Входите», – и, отойдя к столу, прикрытому обрывком клеенки, напряженно остановился, пощипывая бородку. Ячевский увидел брошенные на грязный диван юбку, лоскутки, нитки, подумал: «нет мне сегодня денег», – и неловко сказал:

– Извините, Пестров, я помешал... супруга ваша работает, а я ведь так себе зашел, давно не был.

– А, да... ну, отлично, – бегая глазами, проговорил Пестров. Видно было, что визит этот почему-то неприятен и мучителен для него, но уйти вдруг Ячевский не решался; взяв стул, он сел и сгорбился.

– Вот как... живете вы, – медленно, чтобы сказать что-нибудь, произнес Ячевский и тут же подумал, что этого говорить не следовало – голые стены, груда книг на окне, сор и юбка кричали о нищете. О Пестрове было известно, что он где-то там пишет, уверяя, будто одна нашумевшая, подписанная псевдонимом книга принадлежит ему; над этим смеялись.

– Вы... выпьете чаю? – спросил Пестров; крикнул за перегородку: – Геня, самовар... впрочем, не надо. – Затем, обращаясь к Ячевскому, небрежно сказал: – Я забыл купить сахару... булочная, кажется, заперта... Нет.

– Я совсем, совсем не хочу чаю, – поспешно ответил Ячевский, – вы, пожалуйста, не беспокойтесь. – После этого ему стало вдруг нестерпимо тяжело; он растерялся и покраснел. – Нет... я вас спрошу лучше, как ваши работы, вы, вероятно, всегда заняты?

– Да, – словно обрадовавшись, сказал Пестров и сел, смотря в сторону. – Я очень занят.

За перегородкой что-то упало, резко звякнув и тем неожиданно пояснив Ячевскому, что в соседней комнате, затаившись, сидит человек.

– Не давай ножницы Мусе, – зло крикнул Пестров, – я говорил ведь! – Потом, видимо, возвращаясь мыслью к самовару и булочной, сказал, легко улыбаясь.

– Мои обстоятельства несколько стеснены, что редкость в моем положении, но я скоро получу гонорар.

Ячевский приятно улыбнулся и встал.

– Да, это хорошо, – сказал он, – ну... будьте здоровы, извините.

– Помилуйте, – шумно рванулся Пестров, крепко сжимая и трясая руку Ячевского, лицо же его было по-прежнему затаенно враждебным, – помилуйте, заходите... нет, непременно заходите, – закричал он на лестницу, в спину удаляющемуся Ячевскому.

Ячевский, не оборачиваясь, торопливо пробормотал:

– Хорошо, я... спасибо... – и вышел на улицу.

II

Придя домой, Ячевский чиркнул спичкой и увидел, что в комнате сидят двое: Гангулин за столом, положив голову на руки, а Кислицын возле окна. Спичка, догорев, погасла, и Ячевский, раздеваясь, сказал: – Отчего же вы не зажжете лампу?

– В ней, Казик, нет керосина, – зевнул Гангулин. – Мы шли мимо и забрели. Керосин имеешь?

– Нет. – Ячевский вспомнил о денежных своих неудачах и сразу пришел в дурное настроение. – Хозяева же легли спать, – прибавил он. – я мог бы занять у них. Нехорошо.

– Наплевать, – бросил Кислицын. – Физиономии наши друг другу известны.

В комнате было почти темно. Голубые от месяца стекла двойных рам цвели снежным узором; пахло табаком, угаром и сыростью. Ячевский сел на кровать, снял было висевшую у изголовья гитару, но повесил, не трогая струн, обратно; он был печален и зол.

– А вы как? Что нового? – сказал он.

– Ничего, собственно. «Пусто, одиноко сонное село», – продекламировал Гангулин, встал, сладко изогнулся, хрустя суставами, сел снова и вздохнул. – У Евтихия мальчик родился; щуплый, красный, еле живой; Евтихий в восторге.

– Ты видел?

– Нет, я заходил в лавку, там встретил акушерку, она принимала.

Наступило молчание. Гангулин думал, что в темноте сидеть не особенно приятно и весело, но лень было подняться, надевать пальто, идти по тридцатиградусному морозу в дальний конец города, а там, нащупав замок, попадать в скважину, зажигать лампу, раздеваться и все затем, чтобы очутиться в ночном молчании занесенной снегом избы, одному прислушиваясь к змеиному шипению керосина. Ясно представив это, он снова опустил голову на руки и затих. Кислицын же, отвернувшись к окну, вспоминал девушку, умершую два года тому назад; при жизни она казалась ему обыкновенным, не без досадных недостатков, существом, а теперь он ужасался этому и не понимал, как мог он не чувствовать ее совершенства, и душа его замкнуто болела тонким очарованием грусти, похоронившей горе.

Ячевский неохотно ждал продолжения уныло-беспредметного разговора; все подневольные жители города и пригородных деревень прочно, основательно надоели друг другу. Но гости молчали; изредка, за окном, судорожно скрипели полозья, слышался глухой топот; тараканы, пользуясь темнотой, суетливо шуршали в обоях. Молчание продолжалось довольно долго, делаясь утомительным; Ячевский сказал:

– Гангулин, вы спите?

– Нет. – Гангулин откинулся на спинку стула. – А так, просто, говорить не хочется. А разговор я послушал бы; даже не разговор, а чтобы вот сидел передо мной человек и говорил, а я бы слушал.

Ячевский лег на кровать, закрыл глаза и сказал:

– Я раньше был очень разговорчив и общителен, а теперь выветрился.

– Почему? – рассеянно спросил Кислицын.

– А так. Жизнь. Сухая молодость и три года в снегах – прохладное состояние души.

– Слушайте, – после небольшого молчания таинственно заговорил Кислицын, – вот вам обоим задача. Дня четыре тому назад мне нечто приснилось, не помню – что, и я проснулся среди ночи в страшном волнении. Это я потому рассказываю, что ко мне сейчас, в темноте, вернулось то настроение. Было темно, вот так же, как теперь, я долго искал свечу, а когда нашел, то сон этот, – как мне показалось спросонок, заключающий в себе что-то лихорадочно важное, – пропал из памяти; осталось бесформенное ощущение, которому я никак не могу подыскать названия; оно, если можно так выразиться – среднее между белым и черным, но не серое, и чрезвычайно щемящее... На другой день, неизвестно почему, только уж наверное в связи с этим, стали в голове рядом три слова: «тоска, зверь, белое». Они нет-нет вспомнятся мне, и тогда кажется, что если обратно уяснить связь этих слов – я, понимаете, буду как бы иметь ключ к собственной душе.

Он замолчал, потом рассмеялся и стал курить.

– Это мистика, – наставительно произнес Гангулин, – а ты – тоскующий белый медведь!

Кислицын снова рассмеялся грудным детским смехом.

– Нет, правда, что же это может быть, – сказал он, – «тоска, зверь, белое»?

– Бывает, – тихо заметил Ячевский, – еще и не то в тишине. Бывает иногда... – Он смолк и быстро закончил: – Этим выражается настроение. А твои три слова, как умею, переведу.

– Ну, – сказал Гангулин, – только не страшное.

– Вот что, – Ячевский приподнялся на локте, и в воздушной месячной полосе блеснули его глаза. – В ослепительно-белом кругу меловых скал бродит небольшой, нервный зверь-хищник. Не знаю только, какой породы. Небо черно, луна светит; зверь беспомощно мечется от скалы к скале, ища выхода, припадает к земле, крадется в тени, бьет хвостом, воет и прыгает высоко в воздухе, а иногда станет, как человек. Положение его безвыходное.

– В темноте бродят всякие мысли, – задумчиво проговорил Кислицын, – нет, мне решительно не нравится жить в этом городе.

Никто не ответил ему, но все трое, скользнув памятью в глубину прошедшего года, сморщились, как от скверного запаха. Жизнь города слагалась из сплетен, выносимой на показ дряблости, мелочной зависти, уныния, остывших порывов и скуки.

Из тишины выделился однообразный, призрачно далекий, тоненький звон колокольчика, замер, затем, после короткого перерыва, раздался вновь, окреп и, медленно приближаясь, пронесся мимо окна, рисуя воображению пару лохматых лошадей, сонное лицо внутри качающегося на ходу возка и свежий, бегущий, в рыхлом снегу, след саней.

– Иной раз, – сказал Ячевский, – после бесконечных взаимных жалоб мне кажется, что в нашем терпеливо-безнадежном положении мы все ждем появления какого-то неизвестного человека, который вдруг скажет давно знакомое. Но от этого произойдет нечто такое, как если сонному бросить в лицо лопату снега или крепко натереть уши.

– Послушайте, – оживился Гангулин, – я вспомнил рассказ о том, как одна сельская учительница...

Он не договорил, так как в сенях скрипнуло, треснул настил, раздались увесистые шаги, и дверь стремительно распахнулась, взрывая теплую духоту помещения хлынувшим из сеней холодом. Ячевский встал. Вошедший остановился у печки.

III

– Кто это? – спросил, недоумевая, Гангулин. В полумраке чернела высокая фигура закутанного человека; он сказал низким, незнакомым всем голосом:

– Вы – ссыльные?

– А вы кто? – спросил, зажигая спичку, Ячевский, – мы – да, ссыльные.

Перед ним стоял покрытый до пят меховой одеждой широкоплечий, неопределенного возраста, человек. В обледеневшем от дыхания вырезе малицы⁹ скупно улыбалось красное от мороза лицо, безусое, скуластого типа, спутанные русые волосы выбивались из-под шапки на круглый лоб, черные, непринужденно внимательные глаза поочередно смотрели на присутствующих. Спичка погасла.

– Я тоже ссыльный, – однотонно и быстро сказал вошедший, – я бегу из Усть-Цильмы, сюда меня довез здешний мужик... Я рассказываю все, вам нужно знать, почему и как я зашел сюда...

– Зачем же, все равно, – немного теряясь, перебил Ячевский, – садитесь, все равно.

– Нет, я скажу. – Речь беглеца потекла медленнее. – Здесь город, я еду на вольных перекладных,¹⁰ паспорт фальшивый, мужик ищет лошадей на следующий перегон. Сидеть в избе, среди разбуженных мужиков и баб, быть на глазах, врать, ждать, может быть, час, – неудобно. У них памятливые глаза. Ямщик указал вас, я зашел, а теперь разрешите мне ожидать у вас.

– Странно спрашивать, – сдержанно отозвался Кислицын.

– Да садитесь, какие же церемонии, – засмеялся Ячевский. – Как вам удобнее. Но вот темно, это случайно, а неприятно.

– Мы придумаем, – сказал неизвестный и что-то проговорил заглушенным одеждой голосом; он скидывал малицу, ворочаясь и принимая в темноте уродливые очертания и пыхтя. Мех шумно упал на пол. – Да. – отдуваясь, но заботливо и покойно продолжал он, – я говорю – нет ли у вас лампадки?

– Ну, как же, мы про это забыли, – радостно удивился Ячевский, – конечно, есть.

Он скрылся в углу, затем осторожно поставил на стол запыленную лампадку и зажег фитиль. Остатки масла, треща, прососались сквозь нагар огоньком величиною с орех, месячное окно померкло, тени людей, колеблясь, перегнулись у потолка.

Приезжий, в свою очередь, быстро пробежал взглядом по усатому, с детскими глазами, лицу Кислицына, брезгливым чертам Гангулина, задумчивому, легкому профилю Ячевского и, двигая под собой стул, подсел к свету, застегнув на все пуговицы двубортный темный пиджак, из-под которого, шарфом обведя короткую шею, торчал русский воротник кумачовой рубахи.

Гангулин, потупясь, рассматривал ногти, Ячевский обдумывал положение, а Кислицын спросил:

– Вы давно в ссылке?

– Шесть дней, – показывая улыбкой белые зубы, сказал проезжий.

Гангулин взглянул на него круглыми глазами, проговорив:

– Быстро.

– Быстро? Что?

– Быстро вы убегаєте, очертя голову, стремительно.

– Так как же, – сказал проезжий, – я не могу путешествовать с меланхолическим, томным видом, скандировать, останавливая лошадей на лесных полянах, чувствительные стихи, а

⁹ Малица – меховой мешок с капюшоном и рукавами.

¹⁰ Вольные перекладные – экипаж с лошадьми, нанимаемый самостоятельно, не на почтовых станциях.

затем, потребовав на станции к курице бутылку вина, ковырять в зубах перед каминной решеткой, вытягивая к тлеющим углям благородные, но усталые ноги... Я впопыхах...

Он, подняв брови, ждал, когда рассмеются все, и, дождавшись, громко захохотал сам.

– Значит, – сказал Гангулин, – значит, вы улепетьваете?

– Вот именно. – Проезжий, вытащив из кармана портсигар, угостил всех и закурил сам, говоря. – Слово это очень подходит. Но мне, видите ли, здесь не нравится. Я не привык.

– Вас могут поймать; поймают – риск, – серьезно сказал Ячевский.

– Ну... поймают... – Он сморщился и развел руками, как будто, услышав иностранное слово, переводил его в уме на свой, скрытый от всех язык. – Поймают. Разве вы, делая что-нибудь, останавливаетесь в работе потому только, что не угадываете ее успеха или фиаско? Так все.

Три человека с чувством любопытствующего оживления смотрели на него в упор, Кислицын сказал:

– Куда же, если не секрет, едете?

– А, боже мой, – уклончиво ответил проезжий, – мало ли где живут... – Он заметил по выражению лица Кислицына, что собеседники готовы рассмеяться и что его слушают с удовольствием. – Вы думаете, конечно, что я словоохотлив, – верно, поговорить люблю, это здорово, к тому же дух мой опережает меня, и теперь он далеко, а это действует, как вино. Так что же? Да, вы спрашиваете... У вас здесь еще зима, а там, – он махнул рукой в угол, – начало весны.

– Весна дальнего севера, – брезгливо сказал Гангулин, – не очень приятна. Бледное солнце, изморозь, сырость, чахоточная и нудная эта весна здесь.

– Весна в наших краях, – заговорил, помолчав, проезжий, – весна сильная, такая веселая ярость, что ли. В один прекрасный день всходит весеннее солнце и толчет снег; он загорается нестерпимым блеском, сердится, пухнет, проваливается и вот: черная с прутиками земля, зеленые почки, белые облака, вода хлещет потоками, брызжет, каплет, звенит; так вот некоторые у рукомоиника женщины утром – смокнут до нитки. Потом земля сохнет, – тоже быстро, появляется трава, коровы с бубенчиками и вы, – в белом костюме, на руке же у вас висит нежно одна там... шалунья. Ей-богу.

– Даже слюнки потекли, – сердито сказал, смеясь, Гангулин.

Кислицын, не переставая улыбаться, кивнул безотчетно головой, и всем троим глянул в лицо апрель, когда синяя разливается холодными реками весна.

– Вы жили в деревне? – после недолгого молчания спросил Кислицын.

– Да.

– Как там?

– Плохо.

– А ссыльные?

– Нос на квинту.

– Да, – угрюмо сказал Гангулин, – вы жили, может быть, всего дня два, но проживи вы два года... Это я к тому, что тяжело жить.

Проезжий ничего не ответил. Затрепанный номер иллюстрированного журнала, валявшийся на столе, привлек его внимание; он перевернул несколько страниц, пробежал глазами рисунок, стихотворение и встал.

– Ямщика нет, – озабоченно проговорил он, – мужик хотел зайти сказать – и не идет. Свинья.

– Я предложил бы закусить вам, да нечего, – покраснев, сказал Ячевский, – пустовато.

– Я не голоден, – быстро сказал проезжий, – правда, не голоден.

Он вздохнул и обернулся. Неслышно оттянув дверь, вполз заиндевший мужик, перекрестился и стал у порога; озорное, хилое лицо мужика хитро смотрело вокруг.

– Едем, – вскочил проезжий.

– Уготовил, – откашливаясь в кулак, пробормотал мужик. – Лошадей наладил, как стать, в одночасье, свояк едет мой, пару запрег вам.

– Ах ты, умная миляга, – сказал неизвестный, – хитрая, жадная, но умная; ну, так я готов, веди меня.

Он проворно надел малицу, рукавицы, шапку и подошел к столу. Все стояли, мужик у печки вытирал усы, стряхивая сосульки в угол.

– Прощайте, спасибо. – Проезжий крепко потрянул протянутые руки, добавив: – Может, увидимся.

– Жаль, уезжаете, – располагаясь к этому человеку, простодушно сказал Кислицын, – опять сядем и заскучаем.

– Полноте, – ответил, неповоротливо двигаясь, человек в мехах, – скука... Я еду, думаю... все скучаем, это сон, сон, мы проснемся, честное слово, надо проснуться, проснемся и мы. Будем много и жадно есть, звонко чихать, открыто смотреть, заразительно хохотать, сладко высыпаться, весело напевать, крепко целовать, пылко любить, яростно ненавидеть... подлости отвечать пощечиной, благородству – восхищением, презрению – смехом, женщине – улыбкой, мужчине – твердой рукой... Тело из розовой стали будет у нас, да... А я все-таки заболтался. Прощайте.

Он поклонился и вышел, а мужик, мотнув головой, опередил его, загремев по лестнице Кислицын, стоя у двери, улыбнулся в то место тьмы, где, как думалось ему, находится лицо беглеца, и, так же задумчиво улыбаясь, закрыл дверь. Огонь, сильно колеблясь, трепетал в пыльном стекле лампадки мутным погибающим светом.

IV

У оврага, возле кривой избы, где ныряющая в перелесок дорога чернела при луне навозом и выбоинами, – стояла, поматывая головами, пара кобыл; подвязанный к дуге колоколец тупо брякал, а мужик, расставив ноги, затягивал мерзлый гуж. Тут же, по привычке оглядываясь во все стороны, бросал в возок охапки сена проезжий, поверх сена растянул ватное одеяло, устроил выше, для головы, подушку и стал ходить от избы к возку и обратно, нетерпеливо дергая головой. В мутной, холодно осиянной дали темнел черный лес; черные, без огней, избы, изгороди тянулись от леса к городу; тени, как сажа на молоке, резали глаз. Две собаки лаяли за версту от оврага, но так звонко, словно вертелись за спиной.

– Тпру-у, – подымая голову, зашипел мужик, – околеть тебе, нечистая сила, калека, падло несчастное. Тпрусь.

– Шевелись, борода, ехать надо, – сказал проезжий, – раньше смотреть надо было.

Мужик, молча потрянув оглоблей, нахлобучил шапку, потоптался, шмыгнув носом и свалился боком на облучок, вытянув ноги, как неумеющие ездить верхом дамы, а пассажир, колыхая возок, разлегся внутри и блеснул спичкой, закуривая.

– Ну, трясина вожжами, – сказал он, – поехали... Да смотри, по деревням зайцем лупи, бутылка водки в кармане, тебе отдам.

– Уж я такой, – деловито оживился мужик, – со мной ничего... ничего, покойно, значит, сенца взял.

– Постойте, – запыхавшись, крикнул Ячевский. Он подбежал из-за избы и, торопясь, смущенно улыбнулся, заглядывая в возок.

– Это, ведь, вы... сейчас... были там... так вот я...

Он запнулся, и возбуждение его улеглось.

– Ах, вы, – сказал пассажир, – что вы, пальцы отморозите, зачем пришли?

– Я, – снова заговорил Ячевский, покоряясь внезапному чувству беспомощности, в котором задуманное разом обмякло и перегорело, – я очень прошу меня извинить, задерживаю, не можете ли вы... наложенным платежом русско-немецкий словарь, сделайте одолжение.

Горький стыд потопил его. В возке точками блестели глаза.

«Зачем я все это говорю? – подумал Ячевский. – Никакой словарь не нужен, и черт вас всех побери».

– Словарь? А какой? – нетерпеливо спросил проезжий, заворочался и прибавил: – Ну, хорошо, только это?

– Да, больше ничего, извините, – тихо сказал Ячевский. – Моя фамилия Ячевский. До востребования.

– Прощайте, – раздалось из возка, – трогай.

Ячевский отошел в сторону, а коренная, тряхнув дугой, рванула возок, и лошади побежали мелкой рысью. Воровской дребезг колокольца рассыпался по оврагу коротким эхо, на бугре, падая вниз, возок скакнул, мужик занес кнутовище над головой, и снежный вихрь, брызнув из-под копыт, комьями полетел в возок. Скрип полозьев, удаляясь, затих.

Ячевский, растирая отмороженную щеку, долго смотрел в перелесок, зяб и думал, что все, вероятно, к лучшему. Он шел с целью просить неизвестного беглеца достать и выслать ему хороший подложный паспорт; этому помешали различные практические соображения.

«Бежать, – думал Ячевский, идя домой, – это, в сущности, не так просто, чего я? Шальная вспышка; сорвался, побежал... русско-немецкий словарь, противно все это. Два года – пустяки. И здесь люди живут».

Он спустился к занесенному снегом мостику; на перилах его, висая грудью и подбородком, какой-то захмелевший, без шапки, человек скользил, шаркая ногами, и горько плакал навзрыд.

Кошмар

I

Каждый вечер, перед тем, как уйти в свою комнату и лечь спать, я с женой читал вслух какую-нибудь книгу. Чтение продолжалось обыкновенно до тех пор, пока утомленный глаз переставал различать буквы. Самые остроумные, художественные места казались тогда непонятными алгебраическими формулами, смертельно хотелось спать, и сон манил так неудержимо, что никакое интересное положение, описанное автором, будь это дуэль, раскрытие преступления, любовь с сомнительным исходом, – не могло заставить меня бодрствовать и прочесть главу до конца. Книга захлопывалась, я целовал жену, желал ей спокойной ночи и, захватив свечку, отправлялся к себе.

Раньше, год или два назад, пока жизненные заботы еще не расшатали наши нервы и не сделали нас типичными, раздражительными горожанами, чтения эти не были так регулярны и происходили тогда, когда мы чувствовали общий действительный интерес к какому-нибудь литературному или общественному явлению, новому роману, критическому этюду. Тогда часто мы долго спорили по поводу прочитанного, полные искреннего сожаления о том, что в книге слишком мало страниц. А когда стало скучно спорить и читать вместе, потому что вкусы и мнения другого были заранее известны, незаметно окрепшая привычка заставляла меня каждый вечер раскрывать книгу и читать, а жену слушать, пока чрез определенное, небольшое количество страниц не приходил крепкий, здоровый сон.

В тот вечер, о котором идет речь, мы долго не ложились: жена увлеклась разборкой платьев, выбирая те, которые, по ее мнению, можно было подарить прислуге; а я шагал по комнате, машинально останавливаясь около разбросанных юбок и кофточек и время от времени делая бесполезные замечания по поводу той или иной вещи. Ольга была в добродушном настроении и не сердилась на меня, как обыкновенно, если я мешался в ее, женское дело; но все же, когда я выразил сомнение в пользе длинных рукавов, она сказала мне, не отрываясь от сундука:

– Ну и ладно. Если ты ничего не понимаешь, то, сделай одолжение, замолчи.

– Однако я не раз давал тебе советы, – возразил я, – и ты соглашалась со мной. А сейчас я высказал свое мнение только принципиально.

– Держи его про себя, свое мнение, – отрезала Ольга, расправляя пожелтевшие кружева. – Вот.

– Милая, – сказал я, смеясь, – ты бы легла. Ты сонная и раздражаешься. А платья посмотришь завтра; торопиться, кажется, некуда.

– Ну, я уж не могу, – сказала жена, нерешительно рассматривая голубой шелковый лиф. – Начала, так надо кончить. А если скучаешь, почитан мне.

Я послушно сел к окну и раскрыл новую книжку журнала, приготавливаясь прочесть рассказ известного, давно не писавшего литератора.

– Ну, слушай, – сказал я. – «Тяжелые дни», глава первая.

– Знаешь, Павлик, – встрепенулась жена. – Я лучше завтра это сделаю. Надо будет и нафталином пересыпать. А?

– Конечно, – усмехнулся я, – ведь это же я и сказал тебе две минуты назад.

– Спасибо.

– Не за что.

Наступило короткое молчание.

– Крошка, – сказал я. – Ты, детка, капризничаешь. Бай-бай пора... Ложись-ка, ложись.

– Спа-ать... – зевнула Ольга. – Скучно. А ты мне почитай, пока я усну...

– Ну, разумеется.

Она стала раздеваться, и я, сидя спиной к ней, по шороху угадывал, какая часть туалета сейчас снимается Ольгой. Вот легкий, упругий треск – это расстегивается кофточка; неувловимый, интимный шум – падают юбки; мягкое волнение воздуха – распушены волосы. Стукнули отброшенные ботинки, и Ольга босиком подошла сзади ко мне, закрывая мои глаза маленькими, теплыми руками. Я поцеловал ее пальцы, встал и сказал:

– Пол холодный, и ты простудишься.

Она сонно улыбнулась прищуренными глазами и села на кровать. Потом юркнула под одеяло и выставила розовое, хорошо знакомое мне и милое лицо.

– Бр... вот холодище, – капризно протянула она. – Завтра с утра – все печи; слышишь, Павля?

– Слышу, – сказал я; разделся, поправил огонь свечки, развернул книжку и стал читать.

Ольга слушала, закрыв глаза, и дыхание ее постепенно делалось все ровнее и глубже. Читал я вяло, но одно место, довольно яркое и с претензией на философское обобщение, расшевелило меня. Я улыбнулся и тронул Ольгу за плечо.

– Оля. Не находишь ли ты, что автор врет? Оля...

Повернув голову, я убедился, что жена спит. Сладкое, медленное дыхание ее грело мои волосы. Жаль. Интересно было бы узнать, что она скажет.

Я мысленно повторил, снова улыбнувшись, строки, показавшиеся мне избитой чепухой:

– «Нет свободы; нет никакой свободы... Только мысль разве свободна, да и то, как подумаешь, что ничего-то мы не знаем, – так и в этом усомнишься. Так-то, Григорий Абрамович...»

– Нет, Григорий Абрамович, – мысленно обратился я к лицу, выведенному автором в образе юноши, жаждающего подвига, – врет ваш автор.

Мне сильно хотелось спать, и я, даже при большом усилии, не мог бы стройно продумать и высказать свое опровержение. Но казалось мне, что если я, скромный, среднеодаренный человек, бухгалтер большого банка, из мелкого, голодного ничтожества выбился повыше, к незаметному, но полезному интеллигентному труду, женат на хорошенькой доброй женщине и свободен в своем двухсотпятидесятирублевом бюджете, – то есть у меня некоторое право поспорить с автором рассказа. Я сам работал, сам прошел все стадии борьбы за право жить и быть сытым, – а никто другой.

Положив книгу на столик, я обвел глазами красивую, со вкусом выбранную обстановку женой спальни, и мирная тишина теплой, уютной освещенной комнаты приятно отозвалась во мне спокойным, любовным сознанием трудности жизни и прочности своего места в ее сутолоке. Ольга крепко спала и смешно двигала сонными, розовыми пальцами, полузакрытыми шелком стеганого одеяла. Осторожно поднявшись, я оправил подушку, поцеловал жену в маленькое, оголившееся плечо, захватил свечку и вышел в свою, соседнюю комнату.

II

Очень хорошо помню, что за ужином в этот день не было съедено ничего тяжелого или сырого, ничего возбуждающего, что могло бы расстроить желудок или нервы. Но когда я лег, закурил папиросу и потушил огонь, то сразу неприятно убедился, что заснуть – по крайней мере сейчас – мне не удастся. Не было привычного, хорошо знакомого и приятного чувства усталости во всем теле, желания потянуться, закрыть глаза; напротив, я чувствовал себя странно легко и беспокойно, как будто теперь утро и я только что встал.

Тоскливое сознание этого было мне хорошо знакомо. Обыкновенно в подобных случаях я нетерпеливо двигался на кровати, без конца курил, думал в темноте о чем-то бессвязном, таинственном и неуловимом, чутко отмечая малейший шорох, малейший скрип потолка в уснув-

шей квартире. Потом тяжело засыпал и вставал поздно, с головной болью и скверным аппетитом.

Тьма, наполнявшая спальню, не была полной, напряженной чернотой ночи, настраивающей бессонного человека болезненным пугливым ожиданием неопределенных звуков и навязчивых мыслей. Поэтому я решил не зажигать огня и постараться задремать.

Слабый месячный свет падал в окно, и переплет рамы на фоне тускло-голубоватых стекол казался толстой, черной решеткой. Столы, стулья и предметы, висевшие на стенах, выделялись из сумрака тяжелыми пятнами, хмурыми и неподвижными. За стеной, в комнате жены, громко и пугливо, как беспокойное сердце, стучал маятник, и по временам, переставая думать, я с автоматической тупостью начинал мысленно повторять вслед за ним: «Ук... ук... ук...»

Не помню, сколько так прошло времени, но постепенно мною стала овладевать странная тяжесть, соединенная с беспокойством и желанием двигаться. Я высвободил руку из-под одеяла, вытянул ноги, но тело было свинцовым, жарким и, как я ни поворачивался, томление не проходило.

Человек я физически вполне здоровый, крепкий, не легко устающий, и если бы такой упадок сил, соединенный с почти полным отсутствием мысли, наступил после трудной, изнурительной работы или сильных треволнений, – это было бы в порядке вещей. Но в этот день я даже не выходил из дома, день был воскресный. Продолжая удивляться и досадовать на предстоящую бессонную ночь, я невольно стал прислушиваться к странному, незнакомому звуку, медленно и тихо проникающему в глубокую тишину ночи. Звук равномерно усиливался, рос, затихал и снова наполнял комнату своим одиноким, легким присутствием.

В темноте чувства обостряются. Думая, что меня, быть может, обманывают мои собственные, бессознательные движения, производящие легкий, незаметный днем шум, я закрыл ладонями уши и совсем замер, вытянувшись лицом вверх. Потом отнял руки и прислушался. По-прежнему глухо и сонно стучал маятник, углубляя царящую тишину, но так же, как минуту назад, ровный, легкий шум, похожий на шарканье калош за окном, вздыхал в темноте, таял, как притаившийся человек, и оживал вновь.

Тихонько, опираясь руками на кровать, я встал и, напряженно ступая босыми ногами, осмотрел стены и мебель. Луна скрылась за тучами, стало темнее. Комната молчала зловеще и хитро; казалось, тысячи невидимых, зорко натянутых струн пронизывали по всем направлениям воздух, проникая в мозг, тело; тысячи струн, готовых крикнуть и загреметь при малейшем стуке или резком движении.

Дверь в спальню жены, плотно закрытая мной, смутно выделялась из мрака огромным, расплывающимся четырехугольником. По-прежнему неуловимый, вздыхающий звук полз в темноте, и вдруг, как-то сразу, неожиданным сотрясением мысли, вспыхнувшим, подобно зажженной спичке, я понял, что звук этот – ровное, глубокое дыхание жены, крепко спящей за толстой стеной комнаты и плотной, ковровой драпировкой двери.

Еще не убедившись в реальности этого открытия, я поверил ему и испугался. Новый звук заворочался в темноте – биение моего собственного всколыхнувшегося сердца. В самом деле, даже громкий, оживленный разговор был всегда плохо слышен из одной комнаты в другую и доносился лишь невнятным, слабым гулом. Теперь же легкое дыхание спящего человека раздавалось вполне ясно и так близко, что невольно казалось, будто человек этот дышит здесь, рядом со мной.

Испугавшись, я машинально схватил ручку и приоткрыл дверь. Холодное прикосновение меди слегка успокоило меня, а затем встревожило еще больше, так как, просунув голову в дверь, я убедился в правильности своего заключения; действительно, это было дыхание моей жены, наполнявшее теперь ее комнату едва слышными, ровными колебаниями.

Растерявшись и вздрагивая от холода, я затворил дверь, стараясь не скрипнуть, и вдруг весь затрясся в припадке дикого, животного ужаса. Мгновенное, сильнейшее сотрясение раз-

било все мое тело, разразившись тоскливым, неудержимым воплем. Я задышался. В ужасе и тоске, хватаясь руками за горло, я старался хлебнуть воздуха и не мог. Потолок низко опустился надо мной, и все вокруг, черное, хмурое, кинулось прочь. Заплакав тихими, пугливыми взвизгиваниями, я стукнулся рукой о кровать, очнулся и сел.

III

Некоторое время мысли мои были так безобразно хаотичны, что я с трудом мог дать себе отчет, где нахожусь. Наконец сознание вернулось ко мне, но тело все еще ныло и содрогалось, как от противного, омерзительного прикосновения. В ушах носился далекий, плывущий звон, ноги дрожали от слабости, слегка подташнивало. Голубоватый свет месяца тусклой пылью озарял письменный стол и серебрил черные переплеты окна.

Мне было так страшно, так непонятно овладевшее мною состояние, что я ни минуты более не мог оставаться один. Но что же делать? Разбудить Ольгу и, быть может, испугать ее? Все равно. Я побуду немного с ней, приду в себя и усну. Остановившись на этой мысли, я встал с кровати, но тут же с крайним удивлением заметил, что ноги отказываются мне повиноваться. Они гнулись, как веревки, и тянули вниз. Опустившись на колени, я пополз к дверям, хватаясь за стулья и жалобно вскрикивая. Вместе с тем, в голове бродила сонная и детская мысль, что если жена увидит меня стоящим на коленях, то не рассердится, а укутает и поцелует.

Дрожа от нетерпения и глухой, тяжелой тоски, я подполз к двери и вдруг легко и быстро поднялся на ноги. Произошло это без всякого усилия с моей стороны, словно посторонняя сила мягко встряхнула меня и подняла вверх. Страх исчез, сменившись ожиданием успокаивающей близости живого человека и смеха над своей развинченностью. Но когда я медленно отворил дверь, то сразу и с некоторым смущением увидел, что попал не в женину, а в чужую комнату.

IV

Или, вернее сказать, я не был еще уверен окончательно, чья это спальня – Ольги или посторонней, незнакомой мне женщины. Произошло какое-то неожиданное и странное перемещение хорошо известных предметов. Прежде всего – свет. Жена моя, засыпая, никогда не оставляла огня в комнате. Теперь же по стенам и потолку разливался слабый, желтоватый отблеск, проникавший из неизвестного источника. Большое зеркало из трех овальных стекол, висевшее раньше на стене, соединявшей обе комнаты, очутилось теперь вместе с маленьким мягким диваном против меня, и сбоку его висела прибитая булавками картинка, рисованная карандашом. Картинка изображала мельницу, еловый лес, плоты, и раньше этого рисунка, как я хорошо помню, у Ольги никогда не было. Все остальные предметы сохраняли прежнее положение.

Но больше всего удивило меня то обстоятельство, что Ольга или женщина, которую я принимал за Ольгу, хозяйка этой комнаты, лежала на диване, одетая и, по-видимому, крепко спала. Я сильно сконфузился, мелькнула мысль, что это действительно незнакомое мне лицо, что она может проснуться и испугаться, увидя у себя в поздний ночной час дрожащего, полусонного мужчину босиком и в нижнем белье. Однако неудержимое любопытство преодолело стыд и заставило меня подойти ближе к дивану.

Женщина спала, несомненно, и крепко. Кофточка на ее груди была расстегнута; из-за лифа вместе с кружевом рубашки просвечивало нежное, розоватое тело. Вглядевшись пристальнее, я убедился, что это действительно Ольга, подошел смелее и тронул ее за плечо.

Она зашевелилась, проснулась, но, прежде чем открыть глаза, хихикнула гадкой, хитрой, больно уколотившей меня улыбкой. И затем уже, медленно вздрогнув ресницами, подняла к

моему лицу непроницаемый, омерзительный взгляд совершенно зеленых, как трава, лукавых, немых глаз.

Я вздрогнул от непонятного, таинственного предчувствия грядущего страха, непостижимого и панического. Взял ее за холодную, гибко поддающуюся руку и сказал:

– Пойдем, но не надо. Вставай, но не лежи.

Сейчас нельзя припомнить, зачем это было сказано. Но тогда я знал, что слова мои важны, значительны, имеют какой-то особый, понятный лишь ей и мне смысл. Она лежала неподвижно, гадко улыбаясь, и притягивающе глядела сквозь мою голову в дальний, закрытый тьмой угол комнаты.

Тысячи голосов, испуганных, захлебнувшихся ужасом, содрогнулись во мне звонкими, истерическими выкриками, подступая к горлу и сотрясая все тело той самой горячечной, туманящей сознание дрожью, которую я испытал во сне. Как будто молния ударила в комнату и, ослепив глаза, показала весь ужас, всю тайну творящегося вокруг. Тут только я заметил, что у Ольги не русые, как всегда, а неприятно-металлически золотистые волосы, что она – и она и не она.

Я бросился к ней, схватил ее на руки, зарыдал, прижался к ее груди мокрым от слез лицом, тискал, тормозил, а она легко, как кукла, поворачивалась в моих руках, по-прежнему зло, ехидно смеялась в лицо. Глаза ее стали больше и зеленее.

Без памяти, в состоянии близком к помешательству, я потащил ее на кровать. Мне казалось, что стоит лишь бросить эту, так странно изменившуюся женщину на подушки и провести рукой по ее щеке, как она сейчас же станет прежним, хорошо мне известным близким человеком. Но, когда, шатаясь от тяжести, я подошел к кровати, то увидел на ней – другую, настоящую Ольгу, с милым и добрым лицом, спокойно спящую, как будто вокруг не было ни тайны, ни страха, ни тоски.

Я положил женщину с зелеными глазами на Ольгу и вдруг бессознательно ясным движением мысли понял, что жена не проснется, пока я не задушю эту чужую, неизвестную женщину.

Я задушил ее быстро, нечеловеческим усилием мускулов и отбросил. Она стукнулась о пол, мертво улыбнувшись искаженным, почерневшим ртом.

– Оля, – сказал я, дрожа от тоски и бешенства, – Оля!

Жена спала. Я повернул ее голову, попытался открыть глаза. Веки вздрогнули, и был момент, когда, как показалось мне, она просыпается. Но лицо шевельнулось и приняло снова спящее, мучительно-спокойное выражение. Потом тихая улыбка тронула углы губ, и Ольга открыла глаза.

Они смотрели с горькой, страдальческой покорностью, пытаясь что-то сказать. Плача от невыразимой жалости к себе и к ней, я гладил ее по лицу и тупо повторял:

– Оля. Да встань же. Ведь я люблю тебя... Оля!

Нет, она не проснется. Я убедился в этом. А если... Еще, еще одно, самое главное усилие.

– Оля, – сказал я, – мы пришли, а ты лежишь. Если все будут лежать, – что же это в самом деле? Подожди!

И здесь я проснулся уже действительно, проснулся в состоянии, близком к отчаянию, с мокрым лицом и с горячечным пульсом.

V

Почувствовал я себя таким разбитым, таким немощным, что даже мой мозг, еще полный сонного бреда и диких, таинственно убежавших образов, не в состоянии был заставить тело вскочить и кинуться в соседнюю комнату, под защиту присутствия другого, живого человека. Чувствовал я себя так, как если бы, идя по обрыву горной кручи, упал, разбился, потерял сознание; а потом, открыв глаза, стал припоминать, что произошло.

Прошла минута, другая, и, когда безумно колотившееся сердце успокоилось, а грудь вздохнула ровнее, мною овладел детский, беспомощный страх и омерзительное, содрогающее воспоминание. Ясность пережитого была так реальна, что я, вскочив с кровати и направляясь в комнату жены, не был уверен, что не встречу там желтого света и женщины, задуманной мною. Организм мой вдруг потерял привычное равновесие, колеблясь между фантомами и ожиданием реальной, действительно существующей бессмыслицы. Открыв дверь, я быстро подошел к жене и разбудил ее.

Должно быть, я весь дрожал и говорил странно, потому что, когда проснулась жена и увидела мой темный силуэт, в движениях ее и голосе скользнули сонная, испуганная растерянность и непонимание. Она приподнялась, а я жался к ней, щупал ее руки, плечи, целовал голову, стараясь убедиться, что это не сон, а живой человек, и все время повторял слабым, всхлипывающим голосом:

– Оля, милая. Это ты? Ты? Да?! Ох, что я видел – Олечка, Оля!..

И вдруг маленький, колющий страх съел меня. Что, если это не Ольга, а та женщина, и у нее зеленые глаза?

Она обнимала меня, называла нежными именами и успокаивала. Два или три раза я пытался рассказать ей свой сон – и не мог; при одном воспоминании об этом все тело знобила мерзкая, гадкая дрожь.

– Павлик, – сказала жена, – это оттого, что ты лежал на спине.

Сон прошел у нее, и она лежала с открытыми глазами.

– Да, – пробормотал я, – пожалуй, ты права.

– Выпей валерьянки, милый, – вспомнила Ольга. – Ну, зажги свечку и выпей.

Я и сам сознавал необходимость этого. Но тьма, окружавшая нас, и яркие воспоминания сонных видений, при одной мысли о том, что надо встать, двигаться в бесшумной, ночной пустоте, снова наполняли душу тупым, беспредметным страхом. Все вокруг, что не было мы, двое, казалось мне странно живым, враждебным, притаившимся только на время, готовым сойти со своих мест и зажить особой, таинственной жизнью, лишь только я закрою глаза.

В окнах тускло белели снежные крыши, светилась воздушная пустота, накрытая темным куполом. Там было тихо, так же странно тихо, как и везде ночью. Все, что раньше казалось нелепым и диким, теперь вдруг оживало передо мной, наполняя мир призраками, лохматыми лешими, домовыми с хитрыми, седенькими бородками, ночными кошками, черными, как чернила на белом снегу крыш; зелеными водяниками, там, далеко, за чертой города ведущими свою непостижимую, удивительную жизнь; оборотнями, маленькими мышами, которые, может быть, вовсе не мыши, а гномы. И, крепко прижавшись к жене, гладившей меня по голове, как маленького мальчугана, я осторожно думал о том, что, может быть, и в самом деле, она – не она, что вдруг разольется в комнате странный свет и блеснет из-под одеяла гадкая, гнетущая улыбка ночного призрака.

Видя, что я лежу молча, притворяясь спящим, жена встала сама, зажгла свечку и налила мне в рюмку валерьяновых капель. Свет мало успокоил меня, и, принимая рюмку из рук Ольги, я с некоторым страхом посмотрел на ее лицо. Но это были ее, озабоченные голубые глаза и распущенные, русые волосы.

– Детка, – сказал я, – а ведь, ей-богу, мне кажется, что я все еще сплю.

Она засмеялась, и я тоже улыбнулся, думая про себя, что все-таки еще неизвестно – сплю я или нет.

Жена потушила свечку, легла на кровать и спрятала мою голову под одеяло, а я лежал там в душном, темном мраке, упираясь щекой в ее плечо, лежал, как бедный, загнанный дикарь, измученный бесчисленными фетишами, и глупо, блаженно улыбался, стараясь уснуть. Вскоре мне это удалось. Но последняя мысль, мелькавшая в засыпающем мозгу, – была та, что я – и

солидный господин в золотых очках, проверяющий конторские счета, платящий свои долги и принимающий гостей по субботам, – что-то различное.

А что – я так и не мог решить.

Утром я вскочил свежий, бодрый, с душой такой ясной и радостной, как будто она умылась. Ольга еще крепко спала. Солнце торопливо бросало в сияющие стекла окон длинные зимние лучи.

Ксения Турпанова

I

Жена ссыльного Турпанова, Ксения, оделась в полутемной прихожей, тихонько отворила дверь в кладовую, взяла корзину и, думая, что двигается неслышно, направилась к выходу. Из столовой вышел Турпанов.

Ксения смущенно засмеялась, делая круглые невинно-виноватые глаза и наспех соображая, как обмануть мужа. Но он уже увидел корзинку.

– Куда ты, Ксеньюшка? – спросил хорошо выспавшийся Турпанов.

– Я – в лавочку... муки надо и соли. – Она открыла дверь, но муж схватил ее за руку и стал целовать в ухо.

– Не надо муки, не надо соли, – проговорил он, – на дворе сыро, слякоть.

– Я резиновые надела, – сказала молодая женщина. – Пусти меня.

– Пошли девушку.

– Но я не могу без свежего воздуха, мне надо гулять, я засиживаюсь.

– Ну, иди, иди, – лениво сказал Турпанов, расчесывая бороду гребешком.

Ксения кивнула головой и сбежала по лестнице. На дворе ей встретился Кузнецов. Это был круглоголовый, серый, семинарского типа человек, лет под тридцать, в рыжем драповом пальто, скучный и нездоровый.

– Дома Влас Иванович? – спросил он, вяло здороваясь, и, получив утвердительный ответ, поднялся наверх.

– Раздевайтесь, – сказал Турпанов. – Жену видели? Что нового?

Кузнецов хмыкнул, потирая озябшие руки, долго смотрел в глаза Турпанову и, словно очнувшись, скинул пальто.

– А? Нового? – сказал он. – Ничего нового нет. Я спрашивал у мужиков, когда река встанет. Никто ничего не знает. Лет тридцать, говорят, такой зимы не было. Теперь ведь шестое. А?

– Да, шестое ноября. – Турпанов расстегнул воротник сорочки, выпятив круглую, белую, волосатую грудь, и стал растирать ее ладонью. – Я хорошо выспался. Надоело сидеть на острове.

Поздняя северная зима сильно угнетала жителей Тошного острова. Река медлила замерзать; легкое ледяное сало, а потом более крупный, сломанный оттепелями лед плыл, загромождая русло грязно-белой коркой; по временам льдины скоплялись у берегов, примерзали, и вода затягивалась стекловидным полувершковым льдом; он держался ночь, а утром таял, дробился и уплывал в море. Маленькие пароходы, бегавшие летом из города к острову и обратно, постепенно перестали ходить совсем. Тошноостровцы вздыхали о санной дороге и маялись.

– Пароходы больше не пойдут, я думаю, – сказал Турпанов. – А хорошо бы в город попасть. Пообедать в ресторане, сходить в кинематограф даже просто пройтись по улицам.

– Глафира Федоровна вчера мужа за обедом ругала, – захохотал Кузнецов, – я даже в тарелку прыснул. «Дурак, идиот, скотина», а он сидит и краснеет. Вчера зашел к Меркулову, он сидит и бьет себя по коленке молоточком – купил специально молоточек. На одной ноге стоял, – забавно смотреть. Сухотку спинного мозга отыскивает.

– Значит, все по-старому, – усмехнулся Турпанов. – А в табурлет сыграем?

Расположившись в одной из трех комнат турпановской квартиры, они сыграли несколько партий. Выиграл Кузнецов. Карты скоро надоели. После унылого молчания, во время которого каждый думал о своем, куря папиросу за папиросой, Кузнецов встал и собрался идти обедать.

Посещение им Турпанова не имело другой цели, кроме потребности потолкаться в чужом доме; это было обычное бестолковое, хмурое хождение ссыльных друг к другу. На острове, в деревне их было семь человек, они жили замкнуто, хотя и виделись часто, говорили о пустяках и втихомолку сплетничали. Ксения не была ссыльной, она приехала к мужу с юга. Жизнь на севере казалась ей тоскливой и мрачной.

II

Короткий ноябрьский день переходил в сумерки. Трехверстная ширина реки убегала в редком тумане к смутным контурам городских зданий, церквей и зимующих у набережной морских пароходов, издали, с острова, все это казалось зубчатой тоненькой лентой. Медленно плыл, кружась, грязный, изрытый дождями лед; на льдинах сидели вороны; сиплое карканье их надоедливо будило тишину. У дамбы, среди обмелевших лодок, стояли мужики; большой карбас, спущенный на воду, тыкался кормой в камни. Мужик без шапки, растрепанный, под хмельком, кричал:

– Кладь тащи, Емельян, да доски, доски приволоки, ловчае!

Мужик, стоявший на дамбе, отчаянно махал руками в сторону переулка, откуда, медленно потягивая сани с грузом, осторожно, чтобы не оступиться на гололедице, выступала пегая лошадь. Рядом с лошастью шел высокий, кривоплечий старик без седины, с темным лицом.

– Привороти корму, – закричал он, – таскай, сто пудов взял, шестеро вас поедет, али как?

– Все тут, – сказал мужик без шапки и, широко расставляя ноги, потащил зашитый в рогожу ящик. Это были сельди из коптильни высокого старика Татарьина. Он поставлял их в городские рыбные лавки.

Остальные, скупно и медленно шевелясь, как во сне, посняли с саней груз, закладывая им середину карбаса. Борту сели почти вровень с водой. Гора ящиков, прикрытая рогожей, разделяла корму от носа. Молодой парень в желтой клеенчатой винцероде¹¹ принес две длинные тесовины, – переходить, если понадобится, лед у городского берега.

– Степан Кирилыч, увезите и меня, пожалуйста, – сказала, проходя, Ксения.

Татарьин обернулся. Он был хозяин дома, в котором жили Турпановы.

– Садись, барыня, увезу, – деловито сказал он, шлепая сапогами по луже.

Мужики, бросив работу, тупо смотрели на барыню; один, неизвестно почему, ухмыльнулся, почесав за ухом. Ксения спустилась к воде. Мутно-желтая пена двигалась вдоль карбаса, шурша льдом. Маленькая, темно-русая женщина слегка боялась этой суровой воды, утлого карбаса, загадочных мужиков, льдин, серого неба, но в то же время боязнь приводила ее в легкое восхищение. Ей казалось, что плыть на карбасе совсем не обыкновенное дело, которым сотни лет, изо дня в день, занимается население, а такое же загадочное и новое, как, например, дрессировка змей. Самое себя она чувствовала теперь тоже не балованной городской женщиной, а новой, расположенной к мужикам и мужицкому Ксенией, которую мужики не могут только видеть, а если б увидели, то загалдели бы в ее присутствии, не стесняясь.

В то время, когда она, смотря на карбас и реку, думала, что все готово и можно ехать, мужики действительно загалдели все сразу, и нельзя было понять, в чем дело, тон голосов их заставил бы непривычного человека подумать, что случилось что-то такое важное, что ехать совсем нельзя. Покричав, все, однако, успокоились и начали размещаться. Четверо сели на носу, в весла, один – на корме; Татарьин подошел к Ксении, говоря:

– Садитесь, барыня, на скамеечку.

¹¹ Винцерода – плащ из непромокаемой ткани.

Ксения ступила одной ногой на борт, ожидая, что от этого карбас сразу наклонится и черпнет воды, но судно почти не шелохнулось. Татарьин бросил на сиденье кусок брезента; в карбасе было тесно и сыро.

– Садитесь вот, посушее. Поехали. С богом!

III

Татарьин держал руль. Короткий плеск четырех весел мерно удалял карбас от берега. Черные кучи домов отходили в сторону и назад. Ксения сидела лицом к корме, плотно обтянув юбкой ноги; ей было слегка холодно и чуть-чуть страшно. За ее спиной и за грудой ящиков невидимые гребцы о чем-то говорили вполголоса; разговор их был отрывист и глух. «О чем бы таком интересном подумать?» – мысленно произнесла Ксения. Но мысли были только о том, что непосредственно относилось к настоящему положению. Она думала, что муж будет в большом недоумении, узнав об ее поездке, пожалуй, обеспокоится, а потом, когда завтра она вернется, – обрадуется и удивится. Она любила его сильной, думающей любовью. «Такой большой и славный, очень милый», – мелькнуло в голове Ксении.

Дул ровный, холодный ветер; мужики умолкли, а Татарьин, изгибаясь во все стороны, рассматривал проходящий лед, и Ксении казалось, что мужики не разговаривают потому, что ее присутствие их стесняет. От этой мысли ей стало неловко, она спросила более громко, чем было нужно:

– А сегодня назад поедете?

– Там видно будет, – сказал Татарьин и, помолчав, прибавил: – Из Заостровья попадать плохо теперь...

– Из Заостровья?

– Плохо попадать, – продолжал мужик, очевидно, следуя своим мыслям. – Попажа плохая. Сала там понаперло, вот что. А с Кикосихи ездют, вчера мясо везли хорошо, слободно.

Водяное пространство, казавшееся раньше загроможденным льдом, теперь, когда карбас плыл по середине реки, немного очистилось. Только у городского берега стояла ровная, белая полоса. Сырой ветер знобил, студил ноги; Ксения, не выдержав, встала, переминаясь и подергивая плечами.

– Озябли, хе-хе! – сказал гребец с мочальной бородкой. – Город уже недалеко, чаю попьете.

Татарьин, меж тем, разговорившись, тянул низким негромким голосом рассказ о том, как шесть лет назад плыл из Соломбалы с пикшуем, а отец лежал пьяный и захлебывался водой, хлеставшей через борт.

– Нахлебался, протрезвел маленько, – сказал коптильщик, – и в ухо мне как звизданет: «Ты, говорит, Хам, а я Ной, отец я твой, ты это чувствууй» – однако, свалился опять, вот какие дела.

Ксения слушала, смотря на серую, длинную воду, уходившую к далеким берегам Заостровья и Тошного хмурым простором. Большие льдины, покрытые снегом и грязью, текли к морю; некоторые из них, шипя, ползли у самого карбаса. Сумеречный узор города показался вблизи, дома и пароходы как будто вырастали, подымаясь из воды. Ехали уже около часа, у Ксении околели руки; сзябшаяся, боясь пошевелиться, чтобы не озябнуть еще больше, она тоскливо посматривала на берег, мечтая выскочить из неуклюжего карбаса, пробежаться по улице, согреться, зайдя в магазин.

Карбас плыл теперь в рыхлом береговом льду, на носу стоял мужик, раскачивая суденышко; карбас, переваливаясь с боку на бок, давил своей тяжестью лед; льдины, хрустящие, перемешанные как хлеб, накрошенный в молоко, спирали борта, гребцы отталкивали их баграми, крича: «Ну еще, Василий, обопрись ловчае, оттяни назад, не мешкай, дьявол, в

русло попадай, норови, норови еще!» Карбас медленно и шатко скользил к пристани; наконец обмерзшие мокрые ступени каменного трапа поплыли у ног Ксении. Татарьин дернул багром, и карбас остановился.

– Вылезайте! – сказал он, помогая окоченевшей женщине. Она поднялась на пристань и улыбнулась от удовольствия.

– А назад скоро? – Ксения порывалась бежать, мужики, уложив багры, таскали селедку.

– Не мешкайте уж, барыня, – сказал коптильщик, – дотемна ехать надо.

Ксения, порывшись в кошельке, сунула ему тридцать копеек. Мужик охотно и быстро спрятал в карман, говоря: «Ну что, стоит ли, благодарим вас». Уходя с пристани, молодая женщина долго еще слышала шорох льдин, быстрый плеск весел и ровный гул ветра.

Возвратившись через час, нагруженная покупками, резавшими ей пальцы петельками тонких бечевек, усталая и запыхавшаяся, она не увидела ни мужиков, ни карбаса. Два других, причаленные в том же месте, были пусты, покачивались, и на дне их, жулькая и почмокивая, переливалась накопившаяся вода. Было почти темно, глухо и ветрено.

IV

Турпанов, после ухода Кузнецова, вспомнил, что жены долго нет, оделся, прошел к лавочке, увидел за стойкой мужика, рассматривающего картинки старых журналов, и спросил:

– Жены моей не было у вас?

– Нету, – сказал мужик, – не приходили.

«Что за черт, – подумал Турпанов, – не ушла ли она к Антоновым?» Но, тут же вспомнив, что жена Антонова давно в ссоре с ним из-за спора о «самоценности жизни», оставил эту мысль и прошел на берег. Из казенки шел парень с двумя четвертями под мышкой, трезвый, деловито поглядывая на бутылки.

– Голубчик, – спросил Турпанов, – не видал ли ты барыню в белой шапке? Это моя жена, – прибавил он, думая, что так парню будет понятнее, зачем он об этом спрашивает.

– В белой? – переспросил парень. – Это Турпаниха, стало быть... видел никак супругу вашу, – поправился он, – на татарьинском карбасе давеча проехали в город, верно они, глаз у меной такой... приметливый.

Турпанов пожал плечами, покачал головой и, обеспокоенный, подошел к воде. В темнеющей дали, шурша, двигался невидимый лед, свистел ветер.

«Ну, Ксения, – подумал Турпанов, – зачем это?» Неужели правда? Ни вчера, ни сегодня между ними не было разговора о необходимости ехать. С почты, кроме газет, нечего было ожидать, знакомых в городе не было. «Ксения, что же это? – твердил Турпанов. – А вдруг утонет... нет, пустяки... а вот простудится, сляжет хрупкая»... И почему-то обманула его.

Ничего не понимая и начиная от этого слегка раздражаться, Турпанов медленно двинулся по дороге среди голых зимних кустов к мысу. Черные вечерние избы глухо проступали слева, среди замерзших полей; огонек спасательной станции горел высоко на мачте меж тусклых звезд. Мысли о Ксении, доехала ли она и когда вернется, преследовали Турпанова.

Он вдруг ясно и живо представил ее, бесшумную, иногда грустную молчаливо, подчас веселую тем внутренним, смеющимся, тихим и невинным весельем, которое непременно в конце концов передавалось ему, как бы он ни хандрил. – «Ах ты, славная Ксеничка», – сказал Турпанов, с удовольствием чувствуя, что любит жену, и вспомнил, что ему часто приходила в голову мысль: любит ли он ее.

«Вот странно, даже дико, – подумал он, – как же не люблю?» И опять стало страшно, что она утонет. Сам он чрезвычайно боялся воды, и ко всему, отмеченному риском, к рекам, лесу, охоте и оружию, относился с безразличным недоумением интеллигента, – полумужчины, неловкого, головного человека.

– Сегодня приедет, как же иначе, – вслух сказал Турпанов. – Жена сбежала! – шутливо усмехнулся он. И вспомнил, что у Меркулова действительно убежала жена, не вынеся бедности в ссылке с мужем-истериком. Турпанов старался представить, могла ли бы сделать то же самое его Ксения. Вопрос этот интересовал его, но не беспокоил, отношения их были равные и заботливые. «Мы все-таки с ней разные, – мои идеалы, например, чужды ей». Под идеалами он подразумевал необходимость борьбы за новый, лучший строй. Но представления об этом строе и способах борьбы за него делались у Турпанова с каждым годом все более вялыми и отрывочными, а остальные ссыльные даже избегали говорить об этом, как живописцы не любят вспоминать о недоконченной, невытанцовавшейся картине.

«Да, Ксения... человек внутренне свободный, – размышлял, прогуливаясь, Турпанов, – а все-таки...» Что «все-таки», – он хорошенько не знал. На языке сбивчивых туманных мыслей его – это выражало животное чувство превосходства мужчины. Она спорила редко, а если спорила, то утверждала всегда что-нибудь шедшее вразрез со всеми его установившимися понятиями, и было видно, что высказанное принадлежит ей. «Пожалуй, я не знаю ее, – подумал Турпанов, – и не надо знать, так лучше, может быть, она просто недалекая, но добрая».

Он перешел дорогу, думая повернуть назад, как вдруг заметилдвигающийся, неясный силуэт человека, идущего навстречу. Очертания фигуры показались ему знакомыми. Через минуту он поклонился и обрадовался. Это шла Марина Савельевна Красильникова, ссыльная, вдова убитого на войне офицера; на Тошном ее звали попросту Мара. Турпанов разглядел ее улыбку, выразившую веселье и зябкость. Полная, белокурая и высокая, она в темноте казалась стройнее и меньше.

– А, здравствуйте, – более бодрым, чем всегда, голосом сказал Турпанов.

– Вы гуляете?

– Да вышла пройтись. А вы?

– Тоже. Я провожу вас, – сказал Турпанов. – Знаете, жена в город уехала. И не предупредила. Я вот хожу и ломаю голову: зачем?

– Ну, по хозяйству что-нибудь, а вы беспокоитесь?

– Нет, зачем же... – Турпанов перебил себя: – Ну что, как дни вашей жизни?

– А вот скоро срок мой оканчивается, – радостно и серьезно заговорила Мара. – Вы, бедняжки, будете здесь сидеть, а я уеду. Уеду, – повторила она, как бы стараясь полнее представить прелесть освобождения. – В Москве останюсь на месяц; там ведь у меня, знаете, знакомства... Два года жизни убито. Теперь догоняй! И догоню.

– Вы можете, – медленно произнес Турпанов, сбоку оглядывая женщину. Она шла рядом с ним, на одном и том же небольшом расстоянии. Про нее ходили смешные и раздражающие сплетни, а сослали ее за дело о каком-то партийном спектакле. Турпанов сказал:

– Рисковать будете?

Мара сдержанно засмеялась.

– О, нет! Довольно с меня. По горло сыта!

– Вы откровенны.

– И вы будьте таким. – Она посмотрела на него внимательно, строго. – Актеры вы все, и плохие, плохенькие. Ну, чего там? Какая еще революция? Живы – и слава богу.

– Позвольте же, Мара, – начал было Турпанов, но вдруг убедительно и просто почувствовал, что спорить, а тем более горячиться не о чем. – «Все это странно, однако, – подумал он, – неужели я... – но об этом не хотелось даже думать. – Доступна, или недоступна? – глухо подумал он. – Ну и свинья я, а Ксения?»

– Ваша жена сегодня приедет?

– Не знаю, – сказал Турпанов, – а вот что интересно!.. Да, она не приедет, конечно, уже темно и ветер. В гостинице переночует, я думаю... Так интересно, я говорю, вот что: в молодости мы треплемся черт знает как, и теперь...

– Ну, и что же? – усмехнулась Мара.

– Да все равно. – Ему хотелось изменить разговор в легкую и двусмысленную игру словами, но он не мог уловить подходящего момента. В том, что жена уехала, а он идет с нравящейся ему женщиной и не знает ее отношения к себе, было что-то жестокое и приятное.

– Слушайте, – сказал вдруг Турпанов, втягиваясь в это немного хмельное, немного лукавое настроение, – а пойдёмте ко мне. Вы ведь у меня никогда не были, – повторил он, вспомнив, что Мара лишь две недели переведена на остров из уездного города, – а у меня хорошо, городская квартира. Ну, как? Есть конфеты.

– Если есть конфеты, – помолчав, сказала Мара, – завернем. Только я ненадолго. А что у вас хорошая квартира, то этим меня, знаете ли, не удивишь.

– Да разве я хотел вас удивить?

– Ну, не хотели, а подумали.

– Глупости, – сказал Турпанов, сердясь на то, что действительно это подумал. – Налево в переулочек.

У крайней избы села, видя, что Мара нерешительно ступает по льду лужиц, он хотел взять ее под руку, но почему-то не сделал этого. Они подошли к дому, где жил Турпанов. Крутая, темная лестница вела наверх; женщина оступилась, Турпанов поддержал ее неловко за локоть, теплый и упругий, и заметил это; и от этого стало душно. Чиркнув спичкой, Турпанов отворил дверь, стоя возле Мары и тупо следя за движениями ее рук, сбрасывающих пальто; огонь подошел к пальцам, обжег их; Турпанов взял другую спичку, а женщина засмеялась.

– Что же вы, зажгите лампу, – сказала Мара, – или в темноте будем сидеть?

– Виноват! – Он бросился в столовую и, сняв зеленый колпак лампы, осветил комнату. Мара села к столу, оглядываясь, держась как бы принужденно, Турпанов стоял. Он вдруг забыл, что нужно что-нибудь говорить, занимать гостью, или вызвать ее самое на разговор; грудь, шея и руки женщины, ее полное, овальное, затаенно-дерзкое лицо путали все мысли Турпанова; трусливое волнение наполняло его; он сделал усилие, остыл и, подойдя к буфету, вынул коробку.

– Пожалуйста, прошу вас, – сказал Турпанов, стараясь быть просто корректным, но, против воли, сердце стучало быстрыми, замирающими толчками.

– Эта комната вашей жены? – громко, шелестя конфетной бумажкой, спросила Мара.

– Да, вот посмотрите. – Турпанов взял лампу и пошел в соседнюю комнату, но гостя не встала, а только кивнула головой, и он вернулся. – Там она устроилась...

– Да, мило у вас, – сказала Мара и принялась есть конфеты.

«Однако, нужно же говорить что-нибудь», – думал Турпанов.

– Знаете, я недавно читал Бельше¹², «Любовь в природе»...

Она молчала, ела, откинув голову к стене; сомкнутые губы двигались сосущими движениями, и было видно, что молчание несколько не стесняет ее. Турпанов, стараясь не смотреть на Мару, сбивчиво и путано говорил о Бельше, и чем больше говорил, барабаня по столу пальцами, тем яснее становилось ему, что Мару Бельше вовсе не интересует. Она смотрела на него пристально, блестящими глазами и молчала. Сердце Турпанова успокоилось, но осталось ровное, тяжелое раздражение. Посидев немного, он встал, принялся ходить по комнате, говоря о Бельше, синдикалистах, перемене министра, мужиках и, взглядывая на Мару, видел одно и то же, в одном и том же положении, здоровое, молчаливое лицо со странными, неотступно глядящими на него глазами. «Чего она, – подумал Турпанов, – я человек женатый, однако, и все это дурь... Самка...»

¹² Бельше, Вильгельм (1861–1939) – немецкий биолог, популяризатор науки.

Поговорив, он замолчал, не слыша ни «да», ни «нет». Прошла минута; Мара развернула еще конфекту, а Турпанов, посмотрев на нее, улыбнулся, остановился взглядом на подбородке, и вдруг желание стало мучительным, почти нестерпимым.

– Как вы смотрите, – сказал Турпанов, – вот вы какая...

– Какая? – Она тихонько зевнула. – Ведь и вы тоже смотрите.

«А что если», – мелькнуло в голове, но Турпанов смутился и встал. И, встав, увидел, что глаза Мары взглянули на него еще прямее и проще. Он подошел к ней с перехваченным спазмой горлом и, не думая ни о чем, ужасаясь тому, что хотел сделать, и в то же время бес- сильный воспротивиться жгучим толчкам крови, положил руки на плечи Мары. Она смотрела прямо ему в глаза, не отодвинулась и не пошевелилась, а Турпанов, продолжая ужасаться и радоваться, нагнувшись, поцеловал ее в бровь неловким и не давшим ему никакого удовольствия поцелуем. Он весь дрожал, губы его кривились; чувствуя, что теперь все можно, с душой замкнутой, даже слегка враждебной цветущему телу Мары, путаясь, расстегнул пуговицы на пышной груди, и захмелел.

«А Ксеничка, как же я... но я ее люблю, это во мне зверь», – бормотал мозг Турпанова; и вдруг без слов, качнувшись стремительно с закрытыми глазами, Мара левой рукой охватила его шею, притянула голову Турпанова к горячему бюсту; она стала вся неловкой, покрасневшей и жадной. – «Конфекты, Бельше... теперь надо крепко целовать», – подумал Турпанов и, весь затрепетав, вырвался, готовый закричать от страха... Быстрые шаги сзади замерли отчаянной тишиной. Он обернулся, ослабел и, задыхаясь от растерянности, увидел жену.

V

Ксения долго стояла на пристани, прислушиваясь к гулу ветра, оглядываясь и соображая, поедет ли теперь кто-нибудь на остров, или же ей действительно придется ночевать в городе.

Озадаченная, она не могла даже долго возмущаться Татарьным, уехавшим, не дождав- шись ее. Надоевший деревенский остров теперь, когда на него почти невозможно было попасть, казался таким близким и родственным ей, что у Ксении тоскливо, от нетерпения, сжалось сердце. Темная река шумела у ее ног; Ксения представила себе мужа, выбегающего на берег прислушаться, не плещут ли вдали весла, и почувствовала себя виноватой, почти преступни- цей. Это происходило оттого, что именно так тоскливо чувствовала бы она себя на его месте.

Поспешные шаги нескольких человек и стук телеги заставили ее обернуться; пятеро кре- стьян, три мужика и две бабы шли сзади ломовика, таща корзины с пустыми кадушками из- под молока, проданного днем. Лошадь остановилась у воды, огромный человек в кацавейке прыгнул в затрещавший карбас и принялся вычерпывать скопившуюся в нем воду. Тусклый фонарь пристани освещал погруженные на телегу мешки, остановившихся неподвижно баб и Ксению, подошедшую к ним. Колосс, черпавший воду, вылез на край мола, вытирая руки о штаны. Ксения сказала:

– Вы, кажется, едете на остров?

– Из Тошного, кладь вот наберем и пошли.

– Возьмите меня.

– С-с удовольствием! – Мужик зашмыгал носом, отвернулся, скрутил папироску, закурил ее, и блеснувший огонь спички осветил его круглое, темное лицо с маленькими глазами.

– Терентий, – закричал он суетливым, самодовольным голосом, – вот барыня просится, взять што ль?

Сутулый старик, встряхиваясь под съезжавшим со спины мешком и семена к каменным ступеням, под которыми ожидал карбас, крикнул:

– Пушай, много ли весу в ей!

– Мы завсегда, – сказал круглолицый, поворачиваясь к Ксении и выставляя ногу каким-то особенно картинным вывертом: – значит, сочувствуем. Как я был серый мужик, – продолжал он, – а служил я в конной гвардии, в Петербурге, и что такое политиканы не знал, ну, то есть... понимаете... да.

Он подвинулся ближе и дохнул в лицо Ксении сивухой. Она молчала. Мужик затянулся папиросой и, не успевая договорить, потому что другой крикнул ему:

– Таскай мешки, че-ерт! – пятась задом, пробормотал:

– Как вы произошли курс вашей гимнастики и науки, а мы водяную часть, потому не боимся! Мне хоть сейчас скажи кто: «Иван, беги по льду» – и готово; это нам нипочем.

Он исчез в карбасе, укладывая мешки, и, видимо, форся, так как каждое движение других вызывало с его стороны взрыв авторитетных восклицаний.

Телега, постукивая, отъехала; бабы, волоча корзины и охая, уселись в корме. Третий мужик, вялый и благообразный, все время вытирая рукой рот, словно съел гадость, топтался на лестнице и, наконец, сел к мачте на корточках. Ксения поместилась против баб. Старик сел к рулю; круглолицый, толкая всех и немилосердно качая судно, поставил парус. Карбас сидел глубоко в воде; зыбь, полная льдин, терлась у самых бортов.

– Поехали! – сказал старик. – Темь, ну да и это бывало. С богом!

Он сдернул шапку, перекрестился, и этот механический жест без слов дал понять Ксении, что ехать теперь опасно и неудобно, но желание скорей попасть домой вытесняло страх. Она только бессознательно и доверчиво улыбнулась; улыбка эта выражала бессловесную просьбу к ночной реке – не очень пугать. Карбас отъехал, раздвигая льдины медленным, неуклонным движением.

– Ой, страшно, – равнодушно сказала баба и замолчала. Другая грызла орехи, встряхивая головой и шумно отплевываясь. Холодный, сильный ветер рвал воду; карбас приподняло, положило на бок, ударило о борт льдиной, отчего он весь затрясся и заскрипел, подбросило снова, взмыло еще выше и мягко швырнуло вниз.

– Вовремя поехали! – закричал старик, вертя руль. – Леший, прости господи, Иван мешкает который раз, наказание с парнем.

– А что я тебе? – сказал круглолицый. – У меня часов нет, я не барин, не господин; ходил, верно, не доле тебя.

Ветер дул в бок, левый борт черпал воду, по временам бешеные скачки ветра срывали гребни, обдавая лица плывущих ледяной сыростью. Впереди на далеком берегу острова светился огонь спасательной станции, и старик упорно держал на него, хотя невидимые толчки залитых водой льдин повторялись все чаще и неожиданнее. Мужик, сидевший ранее на корточках, а теперь ставший на колени, держась за мешок, заговорил заискивающим, искусственно-веселым голосом:

– Развело, значит, да не попусту; попусту-то зворыхает куда сильнее, лед, значит, ест волну эту самую, уютжит, а то беда.

– Лет пятьдесят ездю, знаю, – быстро заговорил старик, видимо, говоря для барыни, так как все мужики знали, что каждый из них может рассказать о реке, – а в туман, либо морок путался часов по десять, отец еще учивал; смотри, – говорит, – по уху: как ветер дует; дует он тебе правильно, по одному месту, так и держись и-и, держи, говорит... головы не ворочай, слушай ветра, вместо компаса он... А то по волоску.

– По волоску лучше не надо, – с жаром подхватил стоявший на коленях мужик, – вот дым, ежели папироску закурить – унесет, а волосок никуда не денешь, он на башке; отпусти его, он и показывает.

Оба замолчали; карбас, стиснутый волной и льдиной, круто положило на бок, отнесло в сторону, и парус, выйдя из ветра, тревожно заполоскал, почти касаясь воды. Ксения встала; мешок муки упал к ее ногам, придавив завизжавших баб.

«Мы утонем», – подумала Ксения, но это был не страх, а жуткое, тяжелое возмущение. Со всей силой молодой жизни почувствовала она грозный, потопивший ее мрак, темную даль реки, беспомощность, отсутствие любимого человека, и ей захотелось жить не иной, а именно такой жизнью, какой жила она до сих пор и лучше которой, как показалось теперь, быть не может.

Старик, бросаясь, как угорелый, выдернул мачту, другой отпихивал багром льдину. Карбас кренило, он зачерпнул воды и остановился. И вдруг среди общего смятения раздался глухой, булькающий шум, льдина ушла под киль, карбас пошевелился, выпрямился и стал качаться.

– Весла бери, – крикнул старик, – весла, снесет вас, неуповоротные, греби што ль!

Несколько мгновений продолжалась возня, скрип уключин, беспомощные толчки, крик-тенье и брань – и все кончилось! Ветер дул с прежней силой, но волнение почти прошло, судно зашло за мыс.

– Ой, страшно, – снова сказала баба, охая и плюхаясь на мешок. – Что и делается, поехала я с вами!

– Пронесло, и слава богу, – сказал старик, и Ксения второй раз почувствовала, что была настоящая, серьезная и большая опасность.

VI

У дома Ксения остановилась и, запыхавшись, перевела дух, так как шла очень скоро, почти бежала, замирая от нетерпения и волнения. Душа ее, полная нежного оживления, влюбленности и хитровой радости, торопилась высказаться; уже на ходу она улыбалась, представляя, как встретит ее муж, и какой нескончаемый, с восклицаниями, притворно-сердитыми упреками и вопросами начнется меж ними разговор, пока он снимет ее калоши, а она шапку. Как всегда, когда ей особенно хотелось быть с мужем, Ксения старалась думать об этом вскользь, и ей было чуть-чуть стыдно от сознания, что она теперь женщина и что меж ней и одним из бесчисленных мужчин нет ничего тайного. Поднимаясь по лестнице, она сунула руку в карман, где лежало нечто, купленное ею в городе; это был подарок мужу, часы с монограммой, которым завтра, в день своего рождения, он должен удивиться и обрадоваться. Пока же она решила сказать, что в город ехать совсем не думала, и это вышло случайно: вспомнила, что нужно кое-что по хозяйству.

Открыв дверь, Ксения увидела блеснувший свет лампы, заслоненной спиной мужа, быстро подошла и остановилась, еще продолжая машинально улыбаться. Турпанов с широко открытыми, помутившимися глазами подскочил к ней, отступил, оглянулся на Мару и побледнел. Мара инстинктивно закрыла грудь, хихикнув нервным смешком; глаза ее сузились, вспухли и заслезились; сделавшись вдруг некрасивой, вороватой и жалкой, пунцовая, она, быстро дыша, застегивала грудь.

Ксения подняла руку, машинально проводя ею по глазам, перевела взгляд с мужа на женщину, отошла в угол, продолжая неудержимо улыбаться, побелела и крепко зажмурилась. Тоскливое, холодное изнеможение овладело ею, два-три тупых слова – бессмысленных и случайных – заменили на мгновение ясность мысли, ноги ослабели, она прислонилась к столу и оцепенела, болезненно усталая, готовая закричать от боли. Мара, резко вскочив, бросилась в переднюю; Турпанов, мигая, захлебываясь от напряжения и потерянности, сказал:

– Ты не подумала ли... Марине Васильевне было, знаешь, нехорошо, легкое головокружение... – Он замолчал и жалким, громким голосом прибавил: – Ну, как мы съездили, маленькие путешественники?

– Куда? – сказала Ксения через силу, со страхом, что он будет теперь лгать, просить прощенья, извиваться. Ей было невыразимо стыдно от мысли, что муж может узнать об ее

поездке. Часы, лежавшие в кармане, были ей отвратительны, смешны, глупы и тривиальны. Они могли быть нужными и важными, почти живыми, – раньше, но все это было оплевано. – Я была здесь, в гостях, но засиделась.

– Ксюша, – застонал Турпанов, ломая себе пальцы и делая мучительное лицо, – это был психоз, ей-богу, поверь мне, не надо катастроф, это был не я, я же люблю тебя!

Но говоря это, он чувствовал, что обращается к чужой, случайно зашедшей сюда женщине, пристальные, отталкивающие его глаза жены были теми новыми глазами человека, которыми он смотрит раз в жизни и, осмыслив ее по-новому, умирает верно, просто и стремительно для всех, кроме себя. Ксения молчала; передумать и осознать все, случившееся так резко, было ей не под силу. Мужчина, стоявший перед ней, сильно напоминал ей Власа, но был чужой.

– Ну, прощай, Влас, – тихо сказала Ксения, и ей стало жаль себя за то, что она не может какими-нибудь другими, такими же простыми, но огненными словами передать ему всю силу боли и ужаса. Она тронулась к выходу, обернулась и прибавила: – За что?

– Ксения! – закричал Турпанов. – Куда же, что за шутка, я не допущу! – Он бросился к ней, хватая ее за руку; она молча и сосредоточенно вырывалась; Турпанов уступил, думая, что этим смягчит ее. Она вышла без слез, еще не зная, что сделает: поедет ли в другую деревню, где можно переночевать, или наймет карбас к вокзалу, поедет по чистому и тихому рукаву, в темноте, с горем в душе и звездами над головой.

Турпанов, сбегая по лестнице вслед за Ксенией, бессвязно просил и плакал. На крыльце он остановился, совершенно упавший духом; маленький, стройный силуэт женщины быстро уходил в тьму. Скрипел снег; за овином пел пьяный, отчетливо выговаривая:

Было дело под горой, –
На каку нарвался!
Раз-другой поцеловал,
Три часа плевался!

Маленький заговор

I

– Садитесь, поговорим, – ласковым голосом сказал Геник, подвигая стул очень молодой девушке, на вид не старше семнадцати лет. – Мне поручено объясниться с вами и, что называется, – во всех деталях.

Гостя застенчиво улыбнулась, села, оправляя коричневую юбку тонкими, слегка задрожавшими пальцами, и устремила на Геника пристальные большие глаза, темные, как вечернее небо. Геник мысленно побарабанил пальцами, оседлал другой стул и спросил:

– Как меня нашли?

– Я вас отыскала скоро... Хотя вы живете в таком глухом углу... Я даже улицы такой раньше не знала.

– Улицу эту выстроили специально для меня! – пошутил Геник. – Смею вас уверить.

– Еще бы! – слабо улыбнулась она. – Для нас с вами другие места приготовлены.

– Каркайте, каркайте... Что же – улицу через прохожих отыскали?

Девушка отрицательно покачала головой.

– Нет, – поспешно сказала она, – мне объяснил Чернецкий, что улица эта выходит в числе прочих на Армянскую. Я ее всю и прошла, в самый конец.

Геник сделал серьезное лицо.

– Это хорошо! – заявил он, одобрительно кивая. – Всегда нужно стараться как можно меньше расспрашивать прохожих. Особенно в деле особой важности.

Девушка с уважением окинула глазами небрежно оседлавшую стул, худую и коренастую фигуру Геника. Даже и эту тонкость он считает важной – должно быть, замечательный человек.

– Ваше имя – Люба? – спросил юноша.

– Да.

Наступило короткое молчание. Девушка рассеянно оглядывала комнату, пустую и уютную, где, кроме пунцовой розы, алевшей на столе в дешевом запыленном стакане, не на чем было остановиться и отдохнуть глазу. В широкое, настежь отворенное окно, вместе с теплым ветром и шелестом цветущей черемухи, плыл солнечный свет, щедро заливая грязные обои голых стен пыльно-золотистыми пятнами, на фоне которых, беззвучно и неуловимо, как ночные бабочки в свете лампы, – трепетали мелкие, пугливые тени ветвей и листьев, глядевших в окно.

Стол был пуст – ни книг, ни брошюр. Видимый печатный материал валялся на полу, в образе скомканной газеты. В углу – чемодан, койка более чем холостого вида и тяжелая дубовая трость. Зато пол был щедро усеян окурками и спичками.

– Нам, пожалуй, серьезно придется сейчас беседовать... – сказал Геник, рассматривая девушку. – Вы, конечно, против этого ничего не имеете?

Люба расширила глаза и нервно повела плечами. Странно даже спрашивать об этом.

– Что же я могу иметь? – тихо и вопросительно проговорила она. – Чем серьезнее, тем лучше.

Последние слова прозвучали просьбой и, отчасти, задором молодости. Лицо Геника стало непроницаемым; казалось, оно потеряло всякое выражение. Он сильно затянулся папирсой, окружая себя голубыми клубами дыма, и сказал уже совсем другим, твердым и отчетливым голосом:

– Хорошо.

Люба ждала, молча и неподвижно. Глаза ее прямо, с покорностью ожидания, смотрели на Геника.

– Хорошо! – повторил он медленнее и как бы в раздумье. – Так вот что, Люба, для удобства и большей продуктивности разговора, мы сделаем так: я буду спрашивать, а вы отвечать... Идет?

– Все равно, – сказала девушка, напряженно улыбаясь. – Это как на допросе.

– Ну, да... Видите ли – это, по некоторым соображениям, важно для меня.

Люба молча кивнула головой.

– Да. Так вот: скажите, пожалуйста, – сколько вам лет?.. Это нескромно, но, надеюсь, вам не более двадцати, так что, – мы, конечно, не рассоримся.

– В августе будет восемнадцать... – слегка покраснев, сказала девушка.

– А что?

– Хм...

Новые клубы дыма и новый окурок на полу. Геник достал и зажег свежую, третью по счету, папиросу.

– Я так боялась этого! – тихим, срывающимся голосом заговорила Люба, и ее лицо, правильное и нежное, внезапно покрылось розовыми пятнами. – Того... что... может быть... моя молодость... может там... помешать, что ли... но...

Геник досадливо махнул рукой.

– Что молодость? – с неудовольствием перебил он. – Не в молодости дело... А в вас самих... Но, однако, мы уклонились... Скажите – сколько человек в вашем семействе? И кто они?

– Четверо, – неохотно, удивляясь тому, что ее спрашивают о таких, совершенно посторонних вещах, сказала девушка. – Мама... я... папа, потом сестры две...

– Старше вас?

– Нет... где же старше... Еще гимназистки...

– И вы ведь, Люба, учились в гимназии?

– Я? Училась...

– Д-аа... – Геник вздохнул и уставился через открытое окно в сад: – Все мы вкушали когда-то от этой премудрости. У меня есть братишка, маленький глупый человек. Так вот он пришел однажды из класса и начал с чрезвычайно сосредоточенным и мрачным видом колотить ногами о дверь. Я его и спрашиваю: «Ты, Петька, что делаешь?» А он скорчил свирепое лицо и говорит: «Прах от ног своих отрясаю».

Люба задумчиво улыбнулась, не сводя с Геника больших, наивно-серьезных глаз, и медленно наклонила вперед голову, как бы приглашая говорить дальше. Геник обождал несколько мгновений и перешел в деловой тон.

– Ко мне вас направил Чернецкий? – спросил он, сосредоточенно грызя ногти.

– Да...

– Он рассказал мне о вас все! – заявил Геник, отрываясь взглядом от ровного, чистого лба девушки. – По общему мнению... у нас, видите ли, было совещание... вам решено не препятствовать и... помогать...

Люба заволновалась и нервно покраснела до корней волос. Краска быстро залила маленькие уши, высокую, круглую шею и так же быстро отхлынула назад к сильно забившемуся сердцу.

Она так боялась, что ее заветная мечта не исполнится. Но грозный момент, очевидно, придвигался и теперь стал перед ней лицом к лицу в этой убогой, обыкновенной на вид и жалкой комнате.

Геник встал, шумно отодвинул стул и зашагал от стола к двери. Люба механически следила за его движениями, желая и не решаясь спросить: что дальше?

– Не связаны ли вы с кем-нибудь? – быстро и немного смущаясь, спросил Геник. – Нет ли для вас чего-нибудь дорогого?.. Семья, например... – Он не пожалел о своих словах, хотя мгновенная неловкость и боль, сверкнувшие в глазах девушки, сделали молчание напряженным. Геник повторил, тихо и настойчиво:

– Так как же?

– Я, право... не знаю... – с усилием, краснея и ежась, как от холода, заговорила она. – Нужно ли это... спрашивать... Я же сама... пришла.

– Вы вправде, конечно, недоумевать, – сказал, помолчав, Геник, – но, уверяю вас... Хотя, впрочем... Вам отчего-то трудно говорить об этом... хорошо, но скажите мне, пожалуйста, только одно: у вас нет близкого человека, кроме... ваших родных?

Он остановился посередине комнаты, ожидая ответа с таким видом, как если бы от этого зависело все дальнейшее течение дела. Люба подняла на него растерянный взгляд, снова покраснела и смешалась. По дороге сюда мечталось о чем угодно, кроме этого непонятного и мучительного вопроса.

– Я потому спрашиваю, – сказал Геник, желая вывести девушку из затруднения, – что нам нужно знать, будет ли у вас кому ходить в тюрьму, в случае... Если «да», то кивните, пожалуйста, головой.

Кивок этот, хотя Люба его и не сделала, он угадал по опущенным, неподвижно застывшим ресницам. Через мгновение она снова подняла на него свои темные, с ясным голубым отливом глаза.

Ветер мягко стукнул оконной рамой и шевельнул брошенную на пол газету. Геник подошел к окну и сейчас же отошел прочь. Люба вздохнула, нервно стиснула хрустнувшие пальцы и выпрямилась.

– Так, значит, вам не жалко жизни? – равнодушно, полуспрашивая, полуутверждая, сказал Геник. – А?

Люба облегченно рассмеялась углами рта. Слава богу, – вопросы о домашних делах покончены. Хотя странный, немного торжественный в своем равнодушии тон Геника по-прежнему держал ее настороже... Она отбросила за ухо темные непокорные волосы и сказала:

– Как жалко? Я не знаю... А вам разве не жалко?

Девушка нетерпеливо задвигалась на стуле, и меж тонких бровей ее мелькнула легкая, досадливая складка. Если Геник желает болтать, может выбрать другое место и время. А ей тяжело и совсем не до разговоров.

Он же, казалось, вовсе не спешил удовлетворить ее нетерпение. Широкая спина Геника неподвижно чернела у окна, загораживая свет, и только дым шестой папиросы, улетающая в сад, показывал, что это стоит живой, задумавшийся человек.

В комнате напряженно бились две мысли, и маятник дешевых настенных часов, казалось, равнодушно отбивал такт неясным, упорным словам, таинственно и быстро мелькавшим в мозгу. Наконец Геник отошел в глубину комнаты, снова уселся верхом на стул и спросил громким, неожиданно резким голосом:

– Твердо решаетесь?

– Да! – безразлично, с поспешностью утомления сказала девушка.

Глаза ее встрепенулись и загорелись. Казалось – новая волна внутреннего напряжения поднялась в этот пристальный, ждущий взгляд и нервным толчком хлестнула в лицо Геника.

– Теперь вот что... – заговорил он, смотря в сторону. – Вы, значит, поедете за сто верст отсюда в ***ск...

Лицо Любы отразило глубокое недоумение.

– Простите, я не понимаю... – нерешительно сказала она, понижая голос.

– Ведь... Мне Чернецкий сказал, что все здесь... что все готово и... завтра вечером... Также, что от вас я узнаю все инструкции и получу...

Геник с досадой бросил папиросу.

– Вы слушайте меня! – резко, почти грубо перебил он и, заметив, что Люба вспыхнула, добавил более мягко: – Положение изменилось. Фон-Бухель уехал сегодня утром и придет только через месяц.

Девушка молча, устало кивнула головой.

– Этот месяц вы проживете там и будете держать карантин. Что такое карантин – вы знаете или нет?

– Да, я слышала что-то... изоляция, кажется?

– Вот... Жить будете по чужому паспорту... Я вам его сейчас дам. Никаких знакомств. Переписываться нельзя...

– А если...

– Постойте... Вот вам адрес; запомните его и не записывайте ни в каком случае: Тверская, дом 14, квартира 15. Марья Петровна Кунцева.

Она подняла глаза к потолку и по гимназической привычке зашевелила губами, стараясь запомнить. Потом слабо улыбнулась и сказала:

– Ну, вот. Готово...

– Прекрасно, Люба. Так вот, я даже не буду вас наставлять разным конспиративным тонкостям. Там вам все расскажут, устроят и прочее. Приехав, вы скажете лично, самой Кунцевой, следующее: «Я от Геника».

– «Я от Геника», – с уважением к человеку, имя которого отворяет двери, прошептала девушка. – Только... ради бога... зачем я должна ехать?

– Видите ли, – с сожалением пожал плечами Геник, – так решено комитетом... Вы здешняя, и всякие следы ваших с нами сношений должны быть уничтожены. Поняли?

– Да. – Люба весело кивнула головой. – Значит, все-таки выйдет. Я так счастлива...

Геник неопределенно крякнул и хотел сказать что-то, но раздумал. Глаза девушки, блестящие странным, тихим светом, удержали его.

– Поезд идет сегодня вечером в 10 часов, – сказал он, помолчав, усталым и решительным голосом. – Видеться вам с кем-нибудь перед отъездом решительно нет никакой необходимости...

– Так сегодня? – удивилась Люба. – Так скоро?..

– Ну, вот что! – рассердился Геник. – Если вы хотите, то знайте, что от того, уедете ли вы сегодня или нет – зависит все... Я вам сказал.

– Я еду, еду! – поспешно, с растерянной улыбкой сказала девушка. – Хорошо...

Наступило молчание. Портсигар Геника опустел. Он с треском захлопнул его и встал. Люба тоже встала и сделала движение к столу, где лежала ее шляпа.

– Постойте! – вспомнил Геник. – А деньги? Вот, берите деньги.

Он вынул кошелек и протянул, не считая, несколько бумажек. Девушка спокойно спрятала их в карман. Она брала их не для себя, а для «дела».

– Вот и паспорт...

– Спасибо... вам...

Голос ее слегка дрогнул, а затем Люба сделала маленькое усилие, сжала губы и спокойно посмотрела на Геника.

Нет, он решительно не в состоянии выносить этот напряженный голубой взгляд. Стукнуть стулом, что ли, или прогнать ее? Геник деланно зевнул и сказал, холодно улыбаясь:

– Ну, вот и все. Так идите теперь и... постарайтесь не опоздать на поезд.

– Спасибо! – повторила девушка и, схватив тяжелую руку Геника, слабо, но изо всех сил стиснула ее маленькими, теплыми пальцами.

– Ну, что там! – пробормотал Геник, опуская глаза и чувствуя, что начинает злиться. – Всего хорошего...

Люба направилась к двери, но у порога остановилась, провела рукой по лицу и спросила:

– А... как вы думаете... удастся... или нет?

– Удастся! – резко крикнул Геник, толкнув ногою стул так, что он перевернулся и с треском ударился в стену. – Удастся! Вас изобьют до полусмерти и повесят... Можете быть спокойны.

Он поднял злые, заблестевшие глаза и встретился с грустным, сконфуженным взглядом. Люба не выдержала и отвернулась.

– Мне не страшно, – услышал Геник ее слова, обращенные скорее к себе, чем к нему. – А вы, кажется, в дурном настроении.

Он стоял молча, засунув руки в карманы брюк и разглядывая носки своих собственных штиблет с упорством помешанного. Люба подошла к двери, отворила ее и, уходя, бросила последний взгляд на мрачную фигуру.

Теперь глаза их снова встретились, но уже иначе. Геник улыбнулся так ласково и задушевно, как только мог. Что-то ответное тепло и просто блеснуло в лице девушки. Она тихо, молча поклонилась и ушла, небрежно встряхнув длинной, русой косой.

II

Когда стало темнеть, Чернецкий зажег лампу и посмотрел на часы. Было ровно десять. С минуты на минуту должен придти Геник: он аккуратен, как аптечные весы, между тем никого еще нет. Это довольно странно. Шустеру и другим следовало бы знать, что дело касается всех.

Он хотел еще как-нибудь, сильнее выразить свое неудовольствие, но в этот момент пришел Маслов. Скинув летнее пальто и шляпу, Маслов осторожно погладил свою черную, иноческую бородку, прошелся по комнате, нервно потирая руки, и сел. Чернецкий вопросительно посмотрел на него, удержал беспричинную, судорожную зевоту и выругался.

– Что такое? – тихо спросил Маслов.

Голос у него был грудной, но слабый, и каждое слово, сказанное им, производило впечатление замкнутого, трудного усилия.

– Не люблю опозданий! – ворчливо заговорил Чернецкий. – Это провинциализм и, кроме всего, – неуважение к чужой личности.

– Что же, – меланхолично заметил Маслов, – ведь Геника еще нет. К тому же публика стала осторожнее, избегает, например, подходить кучкой.

– Все равно... Чаю хотите?

– Чаю! – вздохнул Маслов, отрываясь от своих размышлений. – Что? чаю? Ах, нет... Сейчас нет... Разве, когда все...

– Вы о чем, собственно, думаете-то? – громко спросил Чернецкий, вставая с дивана и усаживаясь против товарища. – А?

Маслов сморщил лоб, отчего его бледное, цвета пожелтевшего гипса, лицо приняло старческое выражение, и рассеянно улыбнулся глубокими, черными глазами.

– Думаю-то? Да вот, все об этом же...

Он пошевелил губами и прибавил:

– Не выйдет...

– Что – не выйдет? А ну вас, каркайте больше! – равнодушно сказал Чернецкий. – Выйдет.

– Не выйдет! – с убеждением повторил Маслов, усмехаясь кротко и жалостно, как будто неудача могла оскорбить Чернецкого. – Есть у меня такое предчувствие. А впрочем...

– Гадать здесь нельзя, не поможет! – хмуро сказал Чернецкий. – Я вот верю в противное.

Вошел Шустер, толстый, рябой и безусый, похожий на актера человек. Сел, тяжело отдуваясь, погладил себя по колену и захрипел:

– Областника нет?

– Геника ждем с минуты на минуту! – сказал Чернецкий. – Что грустишь?

Шустер механически потрогал пальцами маленький, ярко-красный галстук и хрипнул, досадливо дергая шей, втиснутой в узкий монополь:

– Дело дрянь.

Чернецкий вздрогнул и насторожился.

– Что «дрянь»? – спросил он быстро, пристально глядя на Шустера.

– Да... там... – Толстяк махнул рукой и поднял брови. – Выходит путаница с забастовкой... Уврие сами хотят... свой комитет и автономию...

– Скверно слышать такое, – сказал Чернецкий, – и как раз... Ну, что слышно все-таки?

– Ничего не слышно! – прохрипел Шустер. – Вчера фон-Бухель кутил в загородном саду. На эстраде пьянствовал с офицерами и женой.

– Кутил? – почему-то удивился Маслов, покусывая бороду.

Никто не ответил ему, и он снова впал в задумчивость. Чернецкий заходил по комнате, изредка останавливаясь у окна и круто поворачиваясь. Шустер вздохнул, насторожился, услышав быстрый скрип отворяемой двери, и сказал:

– Вот и Геник.

Геник вошел спокойными, отчетливыми шагами, как человек, вообще привыкший опаздывать и заставлять себя дожидаться. Одет он был слегка торжественно и даже как будто с ненужной излишней чопорностью в черный, щегольской костюм. Загорелое, невыразительное лицо Геника от яркой белизны воротничка, стянутого черным галстуком, сделалось задумчивее и строже. Впрочем, менялся он каждый день, и нельзя было определить, отчего это. Но почему-то всегда казалось, что сегодняшний Геник – только копия, и непохожая, с его наружности в прошлом.

Все оживились, как будто с приходом нового человека исчезла неопределенность и пришла ясная, полная уверенность в успехе дела, о котором говорилось до сих пор шепотом, с глазу на глаз, говорилось с огромным напряжением и подозрительной пытливостью ко всем, даже к себе.

Геник встал, неопределенно и замкнуто улыбаясь, но, когда сел, улыбка исчезла с его лица. Он вынул платок, без нужды высморкался и громко спросил:

– Хозяин, а чаю для благородного собрания дадите?

– Дам, – поспешно ответил Чернецкий, – но не лучше ли сперва, Геник, выяснить положение... т. е., чтобы вы нам рассказали, – как и что... а потом уже все мы занялись бы, так сказать, общими разговорами...

– Ну, все равно... Рассказ мой, хотя будет невелик... – Геник положил одну ногу на другую и закурил. – Вот что, товарищи: дело, что называется, – в шляпе...

Серые глаза Шустера мельком остановились на слегка вздрагивающих пальцах Геника, неуловимо прыгнули и перешли к сухим, полускрытым губам, сдерживающим нервное, частое дыхание. Он взял его, полушутя, полусерьезно, за руку, зажмурился и сказал:

– Какие мы нервные, однако. Вроде салонной барышни. Что, Геник, конспирация – чугунная вещь, а? Как ты думаешь?

Шустер был со всеми на «ты», даже с женщинами. Геник неохотно рассмеялся и отнял руку.

– Ну, это потом... – сказал он и прибавил другим, тихим, слегка сдержанным голосом: – Так вот. Дело это представляется в таком виде...

Тишина сделалась полной и жадной. Казалось, что в трех головах сразу остановилась работа мысли и вспыхнуло напряженное нетерпение услышать слова, фразы и бешено поглощать эту новую, еще неизвестную пищу так же полно и ненасытно, как пересохшая июльская глина впитывает неожиданную влагу дождя.

Маслов закрыл глаза ладонью и застыл так, слушая. Геник продолжал:

– Мне понравилась эта девушка, Люба. Я нашел, что она человек, подходящий во всех отношениях.

Чернецкий удовлетворенно наклонил голову.

– Да! – вздохнул Геник, потирая лоб. – По крайней мере – я так думаю. Это – из потрясенных натур.

– Она верит! – убежденно сказал Чернецкий. – Когда я познакомился с ней, мы долго беседовали... Даже странно и неожиданно было – такая глубокая, мучительная жажда подвига, рыцарства... Но, впрочем, сейчас не в этом дело.

– Вот именно! – подтвердил Геник, рассматривая стену. – Глубокая и тихая натура. Из тех, что переживают в себе. В ней много, вообще, полезных качеств и...

– Пощади уши нашего терпения! – захрипел Шустер, беспокойно ворочаясь на стуле. – Ты расскажи нам, как вышло...

– Пусть уши твоего терпения подрастут немного! – сердито улыбаясь, перебил Геник. – Я не нуждаюсь в понуканиях.

Шустер вопросительно посмотрел на Маслова и неловко замолчал. Геник побарабанил пальцами по столу.

– Да, – сказал он, – так вот. Девушка во всех отношениях подходящая. Во-первых, послушна, как монета...

Его пристальный взгляд обошел товарищей и вернулся в глубину орбит. Никто не пошевелился; напряженное молчание заражало Геника смутным, тяжелым беспокойством. Но, задерживая объяснение и от этого раздражаясь еще больше, он продолжал:

– Во-вторых – у нее есть конспиративный инстинкт, что тоже очень выгодно...

– Да, это хорошо, – сказал Маслов.

– В-третьих – девушка с характером...

Снова молчание. За окном выросли пьяные голоса и затихли, шатаясь в отдалении унылыми, скучными звуками.

– В-четвертых, – продолжал Геник, – она твердо и бесповоротно решила...

– Да? – спросил Чернецкий, и в голове его зазвучало радостное, нервное оживление. – Вы сумели на нее подействовать, быть может? Хотя нет, я ее достаточно знаю... А все-таки – решающий момент... это ведь... Многие отступали.

Геник внимательно выслушал его и, рассматривая кончики пальцев, сказал медленно, но ясно:

– Я разговорил ее.

Маслов опустил руку и недоумевающе смигнул. Шустер задержал дыхание и насторожился, думая, что ослышался. Но Чернецкий продолжал спокойно сидеть, и по лицу его было видно, что он еще далек от всякого понимания.

Геник молчал. Глаза его сощурились, а левая бровь медленно приподнялась и опустилась.

– Что вы сказали? Я вас не понял, – сдержанно заговорил Чернецкий. – От чего вы ее разговорили?

– Я отговорил ее от стрельбы в фон-Бухеля! – неохотно, с блуждающей улыбкой в углах рта, повторил Геник. – Я, надеюсь, достаточно понятно сказал это.

– Да что вы! – вскрикнул Чернецкий с тонким, растерянным смехом. – Проснитесь. Что вы сказали?

– Ну, Геник, ерундишь, брат! – захрипел Шустер, краснея и тяжело дыша.

– Какого черта, в самом деле!..

Все трое в упор, широко раскрытыми, готовыми улыбнуться шутке глазами смотрели на Геника, и вдруг маленькая, хмурая складка между его бровей дала понять всем, что это факт.

Сразу после тишины, нарушаемой только сдержанными, спокойными голосами, поднялся беспорядочный, крикливый и возбужденный шум. Маслов махал руками и пытался что-то сказать, но ему мешал Чернецкий, кричавший высоким, удивленным голосом:

– Дикая вещь!.. Вы в здравом рассудке или нет? Придти и говорить нам, да еще с каким-то издевательством?! Это... Кто вас просил за это братья, скажите на милость? Возмутительно! Что вы – диктатор?!

– Господи! Чернецкий! – вставил Маслов раздраженно зазвеневшим голосом, болезненно морщась от крика и общего возбуждения. – Да дайте же Генику... да Геник... Это что-нибудь не то, слушайте...

– Да послушайте вы меня! – Геник встал и сейчас же сел снова. – Слушайте, и во-первых, и во-вторых, и в-третьих, и в-четвертых – я Аверкиеву отговорил. Да. Я ее отговорил. Вот и все. Но что же из этого? А, впрочем, мне все равно... Это ясно. Если хотите сердиться, – пожалуйста...

– Да что ясно? – вскипел Чернецкий, волнуясь и дергаясь всем телом. – Что вам все равно? Действительно! Но каким образом? Зачем?

– Постойте же! – отмахнулся рукой Маслов и встал. – Почему вы, Геник, взяли на себя труд за нас решить этот вопрос? И отговорили. Вот, объясните нам, пожалуйста, это... – добавил он глухим, настойчивым голосом.

Геник молчал, и казалось, что он колеблется – говорить или нет. Странное, беспорядочное молчание сделалось общим и напряженным, как будто каждый из трех в упор смотревших на Геника людей ждал только первого его слова, чтобы зашуметь, возразить и высказаться. Наружно Геник сохранил полное равнодушие и, подумав, холодно сказал:

– Я объясню. Я объясню... Конечно... Странно было бы, если бы я не объяснил...

Он курил, подбирая слова, и, наконец, с хорошо сделанной небрежностью начал:

– Эта маленькая...

Но сбился, внутренне покраснел и умолк. Потом вздохнул, подавил мгновенное, колючее ощущение неловкости, как если бы собирался раздеваться в присутствии малознакомых людей, и заговорил чужим, негромким и неуклюжим голосом.

И первые же его слова, первые же мысли, высказанные им, наполнили трех революционеров тем самым чувством неловкого, колючего недоумения, которое за минуту перед этим родилось и угасло в душе Геника. Впечатление это было родственно и близко ощущению человека, пришедшего гостем в хороший, фешенебельный дом и вдруг увидевшего среди других гостей и знакомых уличную проститутку, приглашенную к обеду, как равная к равным. То же смешливое, досадливое и бессильное сознание неуместности и ненужности, любопытства и подозрительности. Чем дальше говорил Геник, тем более росло недоумение и сарказм, глубоко запрятанный в сердцах маской застывшей, холодной и деланно-внимательной полуулыбки. Каждый из трех, слушая Геника, судорожно хватался за возражения и неясные, всполохнутые мысли, вспыхивающие в мозгу, бережно держался за них и с нетерпением, доходящим до зуда в теле, ожидал, когда кончит Геник, чтобы разом, рванувшись мыслью, затопить и обезоружить его новую, странную и неуместную логику. Маслов слушал и понимал Геника, – но не соглашался; Чернецкий понимал – но не верил; Шустер просто недоумевал, бессознательно хватаясь за отдельные слова и фразы, внутренне усмехаясь чему-то неясному и плоскому.

– ...Но ей восемнадцать лет... Я не знаю, как вы смотрите на это... но молодость... то есть, я хочу сказать, что она еще совсем не жила... Рассуждая хорошенько, жалко, потому что ведь совсем еще юный человек... Ну... и как-то неловко... Конечно, она сама просилась и все такое... Но я не согласен... Будь это человек постарше... взрослый, даже пожилой. Определенно-закостенелых убеждений... Человек, который жил и жизнь знает, – другое дело... Да будет его святая воля... А эти глаза, широко раскрытые на пороге жизни, – как убить их? Я ведь думал... Я долго и сильно думал... Я пришел к тому, что – грешно... Ей-богу. Ну хорошо,

ее повесят, где же логика? Посадят другого фон-Бухеля, более осторожного человека... А ее уже не будет. Эта маленькая зеленая жизнь исчезнет, и никто не возвратит ее. Изобьют, изучат, изломают душу, наполнят ужасом... А потом на эту детскую шею веревку и – фюить. А что, если в последнее мгновение она нас недобрый словом помянет?

Геник замолчал и поднял на товарищей блестящие, полузакрытые глаза. Он был взвинчен до последней степени, но сдерживался, стараясь говорить ровно и медленно. Оттого, что сказанное им скользило лишь на поверхности его собственного сознания, не вскрывая настоящей, яркой и резкой сущности передуманного, в груди Геника запылало глухое бешенство и хотелось сразу отбросить всякую осторожность, сказать все.

– Ну-ну!.. – Чернецкий широко развел руками и насмешливо улыбнулся. – Ну, батенька, – завинтили!.. Фу, черт, даже и не сообразишь всего, как следует... Да вы кто такой? Позвольте узнать, кто вы такой, в самом деле? Ведь я, – он повысил голос, – ведь я думал, представьте, что вы партийный человек, революционер!.. Но тогда нам не о чем разговаривать! Да, наконец, не в этом дело, черт возьми! Зачем вы сами, зачем вы выскочили с вашим посредничеством? Кто вас просил, а? Вас совесть замучила, – так предоставьте другим делать свое дело. Соломон Премудрый!.. А вы идите себе с богом в монахи, что ли... или в толстовскую общину... да!..

– Вы сдерживайтесь, Чернецкий... – сказал Маслов. – Геник, ваши взгляды – это ваше личное дело и нас не касается. Но почему все это сделано под сурдинку? Почему это тайно, не по-товарищески, с какой-то заранее обдуманной задней мыслью?

Геник упорно молчал, постукивая ногой. Все равно, если и объяснить, ничего не будет, кроме нового взрыва неудовольствия. Шустер задумчиво улыбался и тер колено рукой, исподлобья посматривая на Геника. Чернецкий подождал немного, но, видя, что Маслов молчит, заговорил снова, резко и быстро:

– Вы думаете, что раз вы представитель областного комитета, так вам все позволено? Нет! А по существу... смешно даже!.. Мы в осаде, мы на позиции, мы вечно должны бороться с опасностью для жизни за наше собственное существование... За то, чтобы напечатать и распространить какую-нибудь бумажку... Вы знаете, что сказал вчера фон-Бухель? Нет? А он сказал вот что: что он нас задушит, как мышей, сгноит, голодом уморит в тюрьме! Что же, ждать? А эти корреспонденции из деревень – ведь их без ужаса, без слез читать нельзя! Боже мой! Все было начеку, были люди... Вы говорите, что ее могут повесить... Да это естественный конец каждого из нас! То, что вы здесь наговорили, – прямое оскорбление для всех погибших, оскорбление их памяти и энтузиазма... Всех этих тысяч молодых людей, умиравших с честью! А то – скажите пожалуйста!..

Чернецкий воодушевился и теперь, стоя во весь рост, гибкий и красивый, как молодое дерево, трепетал от сдержанного напряжения и бессильной, удивительной злости. Он был душой, инициатором этого маленького, провинциального заговора и говорил сейчас первое, что приходило на язык, чтобы только дать выход неожиданно загоревшемуся волнению.

Геник слушал, невинно улыбаясь. Чернецкий может говорить, что ему угодно. Нет, в самом деле! Недоставало еще, чтобы грудные младенцы ходили начиненные динамитом. Геник откинулся на спинку стула, стиснул зубы и решительно усмехнулся.

– Я слушаю, Чернецкий, – холодно сказал он. – Или вы кончили?

– Да, я кончил! – отрезал юноша. – А вот вы, очевидно, продолжать еще будете?

– Нет, я продолжать не буду, – спокойно возразил Геник, пропуская иронию товарища мимо ушей. – Я буду молчать. А потом... может быть, скажу... когда-нибудь...

– Жаль! – захрипел Шустер, вдруг краснея и грузно ворочаясь. – А нам интересно бы сейчас послушать тебя!

– Маслов! – удивленно и как-то обиженно воскликнул Чернецкий. – Вы что же? Что же вы молчите?

– Да что ж сказать? – болезненно усмехнулся Маслов. – Теоретически – наш товарищ Геник, конечно... прав. А практически – нет. Жизнь-то ведь, господа, – жестокая, немилостивая штука... Как ты ни вертись, а она все вопросы ставит ребром... Жалко; это верно, что жалко... Но почему же тогда каждого человека не жалко? Играя на жалости, мы можем зайти очень далеко... И крестьян жалко, и рабочих жалко, и невинно пострадавших тоже жалко... Почему же такое предпочтение? Потому, что это женщина? Геник, скажите откровенно, – если бы эта девушка была вам не симпатична, вы тоже так поступили бы?

Шустер неловко усмехнулся и сейчас же глаза его приняли деланно серьезное выражение. Чернецкий взглянул на Геника, но тот равнодушно сидел, сохраняя каменную, безразличную неподвижность лица и тела. Маслов продолжал:

– На молодости-то ведь и зиждется все. Именно молодые-то порывы тем и хороши, что они безумны... Геник нелогичен. Ни для кого не секрет, что наше участие в движении ведет ко многим разорениям, застоям в промышленности, к голоданию и обнищанию целых семейств... Отчего же здесь нет у нас жалости? Да потому, что это печальная необходимость... И как ни грустно, – приходится сказать, чой необходимостью больше, одной меньше – все равно...

Маслов разгорячился, и его истомленное, бледное лицо покрылось беглым, лихорадочным румянцем, а глаза, пока он говорил, смотрели попеременно на всех присутствующих, как бы приглашая их кивком головы выразить свое сочувствие.

– А играя на необходимости, – возразил Геник, – мы можем зайти еще дальше. Там, где для вас «все равно», – должна прекратиться молодая, хорошая и светлая жизнь... Одно дело, когда результаты необходимых действий находятся где-то там... в тумане. И другое – когда сам присутствуешь при этом.

Тоска давила его. Он неожиданно шумно встал, надел шляпу и направился к выходу. Три пары глаз холодно и с недоумением следили за его движениями. Шустер сказал:

– Геник, ну это же непорядочно, наконец, – уйти, ничего не объяснив... Расскажи хоть, что она говорила, – Геник!..

Геник остановился, открыл рот, собираясь что-то сказать, но раздумал, толкнул дверь ногой и вышел.

Наступило длинное, гнетущее молчание, и казалось, что на лица, движения и предметы опустилась невидимая, вязкая паутина. В хорошо налаженную машину, в сцепления ее колес, зубцов и ремней попало постороннее тело, и механизм, пущенный в ход, остановился. Так чувствовалось всеми, сидевшими в этой комнате.

Первый нарушил молчание Чернецкий. То, что сказал он, было как будто и ненужно, и слишком поспешно, но раздраженная мысль подозрительно и упорно хваталась за все, что могло бы объяснить происшедшее не в пользу Геника. Чернецкий сказал:

– Дело это... сомнительное...

Удивления не последовало. Слишком каждый привык быть настороже и определять значение факта по тому, ясны его источники или нет. Но в данном случае думать так было неприятно. Маслов пожал плечами и заговорил, отвечая скорее на свои собственные мысли, чем на слова Чернецкого:

– Выходит, что я еще совсем не знаю людей... А ведь он три недели здесь и все время в работе. Кажется, уж можно было определить степень его уравновешенности. Одно из двух: или крайняя впечатлительность, или... полное внутреннее неряшество... какой-то вызов... Зачем? Тяжело все это...

– Что ж кукситься? – захрипел Шустер. – Нужно сходить к Любе Аверкиевой и попросить ее сюда. Мы по крайней мере узнаем суть дела. А?

– Да! – сказал Чернецкий, бросаясь к вешалке. – Вы подождите... Я скоро...

Он ушел и пришел назад через полчаса, расстроенный и усталый. Люба уехала сегодня, не объяснив, куда и зачем, на десятичасовом поезде.

III

Шустер открыл дверь и удивился: в комнате было темно. Едва уловимые контуры обстановки выступали неровными, черными углами, а в глубине, против двери, синели квадраты оконных стекол, слабо озаренные огнем уличного фонаря.

Он постоял некоторое время, держась за ручку отворенной двери, шагнул вперед и, предварительно крикнув, спросил хриплым, неуверенным голосом:

– Геник здесь?

Мгновение тишины, и затем резко и коротко скрипнула невидимая кровать. Шустер насторожился, подвигаясь ближе. Кровать заскрипела еще громче, и на еле заметном пятне подушки приподнялась темная человеческая фигура.

– Геник, ты? – повторил Шустер, подходя на цыпочках с расставленными руками, чтобы не задеть стул. – Темно у тебя...

– Ты зачем пришел? – раздался вдруг холодный грудной голос, и вошедший вздрогнул. – Что тебе надо?

Шустер опешил: такого приема он не ожидал. Подавив мгновенное неудовольствие, он сделал в темноте обиженное лицо и сказал:

– Если так, то я, конечно... уйду... Ты, конечно, вправо... но...

– Не болтай глупостей! – резко оборвал Геник, ворочаясь на кровати. – Говори толком: что?

– Как – «что»? – сказал Шустер, помолчав. – Я пришел к тебе от всех... Будет сердиться, Геник... Мы же товарищи и... и... Вообще...

– Ступай! – зевнул Геник, скрипя кроватью. – Ступай.

– Да погоди же ты, чудак. Ведь... Это оскорбительно.

Он замолчал, совершенно сбитый с толку. Геник тоже молчал, и тишина таилась только вокруг напряженного молчания двух людей. Шустер ободрился немного и продолжал:

– Ведь нельзя так, совершенно... без объяснения...

– Ты, я вижу, не хочешь уйти... – медленно, как бы обдумывая что-то, сказал Геник. – Значит, придется уйти мне.

– Геник, ради бога! – взволновался Шустер. – Ты пойми... Ну что же тут такого... Ну, произошло недоразумение... конечно, мы отчасти... то есть... но ведь и ты сам горячо принимаешь к сердцу... все это... эту историю... Конечно, мы были все немного увлечены и...

– Врешь! – жестоко возразил Геник. – Ты, толстый Шустер, врешь. Вы не упустили случая сделать мне неприятность, потому что я пошел против вас всех. Только это мелко, Шустер, мелко и некрасиво.

Шустер внутренне съежился, но все же пробормотал:

– Ну, слушай, это простая случайность, что...

– Извини, пожалуйста! – рассердился Геник. – Письмо было адресовано именно мне и никому другому. Чернецкий – грамотный человек. Он не имел права читать его сам и показывать всем другим. Это не случайность, а нахальство.

– Я не знаю, видишь ли... – откашлялся Шустер. – Как сказать? Конечно, неосторожно... но... тебя не было и... мы не могли... то есть он, вероятно, подумал, что что-нибудь экстренное... да. И не нужно долго сердиться за это, Геник. Мало ли чего бывает, ведь...

– Не вертись! – злобно отрезал Геник. – «Мы, вы, я, он» – как это на тебя похоже. Каковы бы ни были личные отношения между нами, – читать чужие письма все же недопустимо. Хотя бы вы, черт вас подери, потрудились заклеить его! Или вложить в новый конверт. А теперь я это не могу рассматривать иначе, как вызов мне, да! И после этого они еще посылают тебя, дипломата с медвежьими ухватками! Даже смешно.

– Да ну же, – простонал Шустер, – плюнь ты на Чернецкого. Он знаешь... того... человек самолюбивый... План этот весь принадлежал ему... Конечно, – заторопился Шустер, услышав новый, чрезвычайно громкий скрип кровати, – он легкомысленно... это верно... но... так, все-таки... это было непонятно... отъезд Любы... твоё молчание... что он... так сказать... в порыве раздражения... гм...

– Так что же, – иронически спросил Геник, – ты извиняешься, что ли, предо мной? И что вам вообще от меня угодно?

– Мы все, – важно сказал Шустер, – желаем сохранить товарищеские отношения... Вопрос этот с твоей стороны странный... Я пришел, Геник, позвать тебя к... туда, где сейчас все... нужно же, наконец, выяснить и прекратить это... положение... Мы ведь не обыватели, которые... Иди, Геник! Право! Я уверен, что все уладится...

Геник поднялся с кровати и зашагал по комнате. Темная фигура его мелькала, как ночная птица, бесшумно и легко мимо Шустера, стоявшего у стены с тупым недовольством в душе. Он усиленно напрягал зрение, но лица Геника не было видно, и Шустеру уже показалось, что раздражение товарища улеглось, как вдруг тот остановился против него и, наклонившись так близко к лицу гостя, что было слышно возбужденное, усиленное дыхание двух людей, сказал тихим, сдавленным голосом:

– Одно письмо я простил бы. Но я, Шустер, видел вчера твой красный галстук на соборной площади, когда ты шел за мной от рынка до завода.

Шустер вздрогнул и насильно засмеялся. Потом в замешательстве сунул руку в карман, снова вытащил ее и погладил волосы. Но тут же сообразил, что в комнате темно и что Геник не мог заметить внезапной краски, залившей шею и уши. Пожав плечами, он спрятал руки за спину и сказал:

– Я, право, перестаю тебя понимать... Кто шел за тобой? Я? Что за чепуха? Да и зачем, куда? Ты бредишь, что ли?

– Шустер... – протянул Геник, качая головой. – С твоей фигурой и опытностью в деле шпионажа лучше бы не браться за такие дела. Эх ты, тюлень!

– Ну, ей-богу же! – возмутился Шустер, оправляясь от смущения. – Это черт знает, что ты говоришь. Это свинство, наконец!

– Ступай вон! – вспыхнул Геник, и в голосе его дрогнула новая, резкая струна. – Пошел отсюда!

– Я! – растерялся Шустер, отступая назад. – Что ты?

– Убирайся к черту, я тебе говорю! – закричал Геник. – Прочь!

– Геник...

– Вон!

– Но ты... послушай же, черт... Я...

– Если ты не уйдешь сию же минуту, я тебя вытолкаю! – дрожая от напряженного, тоскливого бешенства, заговорил Геник. – Мы с тобой объяснились достаточно, нам больше нечего говорить. Пошел!

– Да я же...

– Слушай! – вздохнул Геник, чувствуя, что теряет над собой всякую власть. – Если ты сию же минуту не уйдешь, я всажу тебе в брюхо вот все эти шесть пуль.

Он вытащил из кармана револьвер и навел холодное, темное дуло прямо в грудь Шустера. Курок торопливо, звонко шелкнул и замер. Жаркий туман стыда, испуга и озлобления хлынул в голову Шустера, и через две-три секунды острого, тяжело дышащего молчания, он сказал, чуть не плача:

– Хорошо, товарищ... хорошо... Я...

– Раз! – сказал Геник, нажимая собачку.

– Ну... – Шустер отворил дверь и снова повторил, растерянно улыбаясь: – Ну... я...

– Два!..

Темная фигура бросилась в сторону, и через мгновение торопливый стук шагов затих в глубине коридора. Геник слышал, как резко и быстро хлопнула, завизжав, выходная дверь. Он вздохнул, вздрагивая, как от озноба, сунул револьвер под подушку, подошел к столу, зажег свечку и сел на стул.

Дрожащие, зыбкие тени бросились прочь от вспыхнувшего огня и притаились в углах, неслышно двигаясь под стульями и кроватью, как мыши. Желтый, неровный свет падал на опущенную голову Геника и руки, вытянутые на столе. Так сидел он долго, попеременно улыбаясь и хмурясь быстрым, назойливым мыслям, бегущим монотонно и ровно, как шум поезда.

Окно, чернея, глядело на Геника темной пустотой ночной улицы. Неопределенные шорохи, крадущиеся шаги ползли в тишине, мешаясь с отдаленным глухим стуком колес и звуками мгновенного разговора, вспыхивающими и угасающими во тьме, как спичка, задутая ветром. Геник отодвинул стул, открыл ящик стола и, пошарив среди бумаг, вытащил небольшой узкий конверт. На нем стояло название города, улицы, дома и надпись: – «Ю. Г. Чернецкому, для Геника». «Для Геника» было подчеркнуто два раза и самые буквы этих слов выведены особенно старательно.

Вытащив письмо, Геник развернул его и в третий раз, самодовольно улыбаясь, прочел торопливые, женские строки.

Люба писала:

«Дорогой товарищ Геник. Не знаю вашего адреса и пишу на Чернецкого. Скажите, пожалуйста, зачем я сюда приехала? М. И. ничего не знает и очень удивлена, но говорит, что если вы меня послали, то значит так надо. Объясните, пожалуйста, – что мне делать дальше? Люба А.»

Даже подпись поставлена. Неужели он ошибся относительно ее конспиративности? Впрочем, теперь все равно, и это наивное письмо будет только лишним воспоминанием. Делать ей там, разумеется, совершенно нечего, поэтому пусть едет обратно. Он ей ответит и пошлет денег на обратный проезд.

Неровные, размашистые буквы так живо напоминают руку, писавшую их. Маленькая, гибкая рука, скромно запрятанная до кисти в длинный рукав шерстяного коричневого платья.

Дальше – узкие детские плечи, тонкая шея, коса, упавшая на грудь, и молодая, горячая голова с ясным, пристальным взглядом. Брови сдвинуты досадливо и тревожно. Она пишет ему это письмо. Сидела она, кажется, вот на этом стуле. Даже теперь, как будто, в воздухе блестит улыбка, полная затаенного трепета молодости.

Геник напряженно думал, стараясь уловить что-то сложное, но бесспорное, мелькавшее вокруг образа этой девушки, как неуловимые тени листья, и вдруг прямая, стройная мысль обожгла его мозг, расцвела, вспыхнула и выпукло, простыми, отчетливыми словами проникла в сознание. Геник беспокойно заерзал на стуле, улыбаясь тому, что стало таким значительным и ясным. Сидеть теперь здесь, одному, было нельзя. Шустера жаль, лучше бы потолковать с ним. Хотя, что ни говори, его следовало проучить, человек он дельный, но глупый. А теперь Геник пойдет к нему, скажет самое настоящее и объяснит все: это необходимо.

Одно мгновение ложный стыд шевельнулся в нем. Явилось опасение, что не поверят его искренности, но, утвердившись на той мысли, что надо же это все когда-нибудь кончить, смягчить отношения и ехать работать в другой город, – Геник встал, оделся, погасил свечку и, сунув револьвер в карман пальто, вышел на улицу.

IV

Теплая, весенняя ночь окутывала город душным, пыльным сумраком. За рекой небо еще трепетало и вспыхивало последним румянцем, но выше зажглись звезды, сияя над черными горами крыш и в просветах темных деревьев, как маленькие небесные светляки. Из окон

выбегал широкий желтый свет, местами озаря тротуары и деревянные, покосившиеся тумбы. Пыль немощных улиц, поднятая за день, еще не улеглась и невидимо насыщала воздух, густая и душная. За темными, покосившимися заборами, как живые, склонялись деревья, одетые сумраком, шумели и думали.

Геник шел спокойно, не торопясь, обдумывая возможные результаты предстоящего объяснения. От недавнего столкновения с Шустером и жаркой истомы ночи кровь разволновалась, тело требовало усиленного движения, но Геник намеренно сдерживал шаги, не желая еще более возбуждать себя быстрой ходьбой. За ним прислали Шустера, уж, конечно, не для одного примирения. Очевидно, там ожидают его объяснений по поводу письма и отъезда Любы. Если будут приставать к нему с вопросами относительно мотивов, – то он, конечно, скажет им все, хотя бы это повело к форменному разрыву. Лучше об этом сейчас даже не думать. Ход разговоров покажет сам, где и когда можно будет сказать то, что уже сложилось и окрепло в его душе готовым убеждением.

Он вспомнил красный галстук Шустера, нахмурился и свистнул, а пройдя несколько шагов, обернулся, не переставая подвигаться вперед. Та часть улицы, которую мог охватить глаз, скованный темнотой, была совершенно пуста. Но, несмотря на отсутствие прохожих, тишины не было. Неясные, темные звуки роились, замирали и гасли вокруг, и казалось, что сам уснувший воздух в бреду родит их, грезя эхом и напряженностью дневной суеты.

Геник перешел огромную пустую площадь, в конце которой, на фоне сумеречного неба, рисовались черные колокольни собора, свернул влево и углубился в один из кривых базарных переулков, вымазанный лужами и разным рыночным сором. Днем здесь стоял несмолкаемый шум, звонко кричали бабы, торговки овощами и яйцами; шныряли кухарки и повара, жулики в калошах на босую ногу, торговцы в синих картузах и поддевках; пестрели огромные, пахнущие сырьем, кучи репы, моркови, капусты. Теперь было тихо, темно; навесы лабазов, подобно огромным, продырявленным зонтикам, закрывали переулок, а запертые полупудовыми замками лари, темнея неправильными рядами, казались ненужными, большими ящиками, неизвестно почему окованными ржавым железом.

С угла, навстречу Генику, поднялся задремавший сторож и быстро застучал колотушкой, выбивая скудную, монотонную дробь. Геник прошел мимо него; колотушка трещала еще некоторое время, потом стукнула один раз особенно громким, упрямым звуком и умерла.

Кажется, в переулке раздавалось эхо, потому что шаги Геника стучали по дереву узких дрянных досок тротуара двойным, разбросанным шумом. Он остановился, не решаясь оглянуться, но эхо раздалось еще три раза и стихло. Сердце у Геника забилося усиленным темпом, и он, не двигаясь вперед, стал топтаться на месте, покачиваясь и размахивая руками, как быстро идущий человек.

Эхо приблизилось, замедлилось, как будто в нерешительности, и сгибло в темноте переулка. Геник повернулся и быстро, бегом, бросился назад. Кто-то побежал перед ним изо всех сил, метнулся в сторону, присел за ларь, выскочил снова, но Геник уже держал его за ворот пальто, смеясь от бешенства и удивления.

– Пусти!.. – крикнул Шустер, задыхаясь от беготни и тяжелого, злого стыда. – Пусти... ну!

Он сильно барахтался, стараясь вырваться, но Геник коротким усилием повалил его на землю и сел, крепко держа руки противника. Шляпа Шустера откатилась в сторону, и оторопелые, налившиеся кровью глаза упирались в лицо Геника.

– Так! – гневно сказал Геник. – Так вот как, Шустер!.. Ну, хорошо. Я шел сейчас к Чернецкому, и ты напрасно трудился. Впрочем, не советую приходить туда... Может быть, ты мне объяснишь что-нибудь?

– Нечего объяснять... – сказал Шустер хриплым, дрожащим голосом. – Сам ты виноват...

Геник встал, поставил товарища на ноги и, размахнувшись, ударил его в плечо. Шустер охнул и отлетел в сторону, еле удержав равновесие.

– Вот так! – сказал, смеясь, Геник, хотя к горлу его подкатился тяжелый, нервный комок обиды и отвращения. – Теперь мы квиты. Прощай.

Он повернулся и, прежде чем Шустер оправился, пошел прочь ровными, быстрыми шагами. А вдогонку ему летела громкая, беспокойная дробь колотушки ночного сторожа.

V

– Вот и вы! – сказал Чернецкий вежливо-ироническим тоном, бегая глазами по комнате. – Садитесь, пожалуйста.

Геник вошел, не снимая шляпы, быстро осмотрел комнату, не поклонившись Маслову, сидевшему в тени лампы, и подошел к Чернецкому. Тот поднял глаза и встретился с бледным, осунувшимся лицом.

– Ну, что же? – устало спросил Геник. – Вам угодно было меня видеть?

– Да, – сказал Маслов, предупреждая ответ Чернецкого. – Знаете, это тяжело, наконец... Мне хочется лично, например, поговорить с вами... прямо и откровенно. Садитесь, товарищ, – мягко добавил он, видя, что Геник стоит. – Садитесь и снимите вашу шляпу.

– Дело не в шляпе! – вспыхнул Геник. – Я не устал и шляпы снимать не буду.

Чернецкий криво усмехнулся, шагая из угла в угол. Лицо Маслова стало неловким и напряженным. Он покраснел, сделал над собою усилие и заговорил, не повышая голоса:

– Вы хотите ссориться, Геник, но предупреждаю, что со мной это невыносимо. Отчего вы такой? Мы работали вместе, дружно, целых три недели прошло уже, как вы приехали... На юге встречались с вами, я помню... Да... А теперь что же? Какая-то тяжелая туча спустилась над всеми... дело запущено, потеряны многие связи... Нас ведь очень мало, и если так пойдет вперед, можно с уверенностью сказать, что мы недолго протянем.

– Маслов, – сказал Геник и мгновенно побледнел, – может быть, Шустер хочет со мной ссориться?

– То есть? – отозвался Чернецкий, и красивое лицо его насторожилось. – Почему?

– Видите ли, – внутренне смеясь, объяснил Геник, – не далее как час тому назад я поколотил его в одном из рыночных переулков. Он был очень неосторожен, но все-таки убедился, что я в охранном отделении не служу.

– Что-то не понимаю вас... – жалко улыбаясь, сказал Маслов и вдруг тяжело задышал. – Вы и Шустер подрались, что ли?

Чернецкий подошел к окну, растворил его и стал глядеть вниз на улицу. Геник не выдержал. Звонкий туман хлынул в его голову, и через мгновение, ударив кулаком по столу, он закричал, вздрагивая от бешенства:

– Еще недостает, чтобы вы мне лгали в глаза!.. Он шпионил за мной, говорю я вам! Чьи это шуточки, а?..

– Ну знаете, Геник, – овладев собой, сказал Маслов ненатурально-возмущенным голосом, – я на такие вещи отказываюсь отвечать... И говорить их оскорбительно, прежде всего для вас самих...

– Да, – с холодным упрямством подхватил Чернецкий, – вы начинаете болтать глупости!..

– Хорошо! – сказал, помолчав, Геник, стараясь удержать расхлывшееся волнение. – Я молчу об этом. Доказать это трудно, и вы можете с ясными глазами отпираться сколько вам угодно... Все-таки шел я сюда, к вам... не с враждой... А после того, как поймал Шустера... Кстати, он побоится придти при мне, будьте спокойны...

Все молчали, и молчание это было тягостнее самых оскорбительных и злых слов. Улица заинтересовала Чернецкого; он пристальнее, чем когда-либо, смотрел в нее. Маслов напря-

женно теребил бороду, и его серьезные, черные глаза ушли внутрь, а тонкие губы беззвучно шевелились под жидкими усами.

– Кто читал письмо? – спросил Геник.

– Я... – сказал Чернецкий развязно, но не отрываясь от окна. – Видите ли, это все-таки случайно вышло... Письмо было адресовано ко мне и... могло быть деловым... наконец, – какие секреты могут быть между нами... Относительно же вас, после того разговора... Я не знал даже, придете ли вы еще хоть раз. Поэтому я, после долгого колебания... решил его вскрыть... тем более, что оно могло быть очень нужным... срочным...

– Нет, это великолепно! – расхохотался Геник. – Ну, ну, – что же дальше?

Чернецкий пожал плечами, отошел от окна и, нахмурившись, сел. Как и все люди, он считал себя правым, а Геника нет, и смех товарища оскорбил его. Готовилось разразиться новое, ненужное и больное молчание, как вдруг Маслов спросил:

– Ну, хорошо!.. Там, как бы ни было прочитано, – оно прочитано. А теперь, по существу этого письма, – вы могли бы нам объяснить что-нибудь или нет?

Вопрос этот, поставленный ребром, снова зажег в Генике улегшееся было раздражение и наполнил его тоскливым острым желанием сразу высказать все и уйти.

– Да, – с расстановкой заговорил он, рассматривая потолок, – я могу объяснить вам... Раньше я, признаться, не хотел этого, но теперь, когда вы прочли и все-таки не понимаете, я из чувства человеколюбия должен прийти к вам на помощь...

– Очень польщены! – язвительно бросил Чернецкий, шумно вытягивая ноги.

– С благодарностью выслушаем.

– Не знаю, – медленно продолжал Геник, и тонкие складки легли между его бровей, – не знаю, будете ли вы польщены и благодарны потом... но факт тот, что я на этот раз договорю до конца... Да и пора, не так ли?

– Именно! – сказал Чернецкий, грызя ногти. – Давно пора.

– Люба уехала отсюда потому, – с наслаждением продолжал Геник, – что я заставил ее уехать... Иначе она сделала бы то, от чего я ее удержал... правда, обманом удержал, против ее желания... Но вы ведь не замедлили бы исправить мою ошибку? Вот. А поступил я так потому, что человек, бросающий себя под ноги смерти ради фон-Бухеля, не имеет настоящего представления о... жизни. И нужно этому помешать... Теперь, когда этот самый фон уехал из нашего города, разумеется, ничто не препятствует ей вернуться обратно...

Геник умолк и вытер вспотевший лоб. Да, вот сидят они все трое так же, как сживали раньше, чеканя различные мелочи партийной работы, но отчужденность вошла теперь в глаза всех и светится там холодным, стальным блеском. Эти двое и он – враги.

– Здорово! – воскликнул Чернецкий, нервно потирая руки. – Однако вы, господин, не стесняйтесь! Да-да! Герой, вызволяющий невинную жертву из рук злодеев!.. Прямо хоть мелодраму пиши, ха-ха!.. Стыдно вам, Геник! Какой же вы человек борьбы, вы – жалкая, слезливо-сентиментальная душа?! Есть бог мести, Геник, – великий, страшный бог, и все мы служим ему!.. Но почему вы нам раньше не сказали того, что сделали? Ваших взглядов не развили почему? Или боялись, что слабы они окажутся?

– Ваша наивность равняется вашему росту, – усмехнулся Геник. – Оттого не сказал, что с первого слова об этом очутился бы в стороне...

– Бессовестный вы человек! – перебил Чернецкий. – Вы...

– Я не кончил еще! – в свою очередь, повышая голос, перебил Геник. – Теперь мне все равно, что вы думаете... Я только спрошу: отчего из вас никто не вызвался на это, так нужное в ваших глазах дело? А? Мы жили, люди мы взрослые, определенных убеждений... Почему свою жизнь вы цените дороже, чем чужую?

Геник встал. Последние слова, сказанные им, довели общее возбуждение до последней степени. Маслов порывисто дышал, судорожно опершись руками о стол, и, когда Геник

умолк, заторопился громким, страстным шепотом, вздрагивая всем своим тщедушным больным телом:

– Это уже... это уже... Это обвинение... какое право... вы... Оскорбляете нас... хорошо. Но я не говорю с вами больше... я не скажу... только... одно... вы и сами знаете это: каждый делает то, что может...

– О, – холодно сказал Геник, – вы могли и не трудиться говорить это. Все эти соображения о разделении труда в партии я знаю... но все-таки мы – мужчины, а она – женщина и... моложе нас... Поэтому я еще раз спрошу: Чернецкий, – не желаете ли умереть благородной смертью? Маслов не умеет стрелять, он слаб... А вы? Отчего бы не попробовать? Это лучше, чем отряжать шпионов за мной.

– Позер! – крикнул Чернецкий, шагнув к Генику.

Слово это вылетело из его горла гулкое и звонкое, как упавшая пустая бочка. Геник пристально посмотрел на юношу и обидно расхохотался, жалея уже о том, что пришел сюда. Кроме дальнейшей брани и шума, ничего не получится. Нужно уйти.

Чернецкий сразу остыл и с тупым удивлением смотрел на Геника. Оттого, что презрительное оскорбление повисло бессильно в воздухе, вдруг всем стало противно и скучно смотреть друг на друга. Геник встал, подошел к двери, но, подумав, остановился и сдержанно заговорил, обращаясь к Маслову:

– Я уйду... а хотел бы все-таки, чтобы вы, вы именно, поняли меня... Есть люди, смерть которых не проходит бесследно... Пока они живут – их не замечаешь... как воздух, которым мы дышим... Эти маленькие, солнечные жизни похожи на цветы, что растут при дороге... Они такие милые, что даже глядеть на них приятно... Все, что есть у нас лучшего и хорошего, поддерживается благодаря им, когда душа наша, Маслов, усталая и ожесточенная сутолокой и грязью борьбы, отдыхает на них, освежается и крепнет... Я говорю о молодых существах, чистых и трепетных, как весенние листья... Чем стала бы жизнь без них? Пока они среди нас – нужно дорожить этим... Помните Пеньковского Илошу, Нину, с которыми мы познакомились на лимане? Вот тоже Люба. Они нужны, бесконечно нужны, как нужна и дорога всякая поэзия, всякое тепло... И не в этом ли главное молодости? Так нужно беречь их, говорю я... Пусть молодость, сверкающая вокруг, певучая, ясная молодость помогает нам идти до тех пор, пока лицо не покроют морщины и тоскливый холод усталости не затянет сердца тоненькой, всего только очень тоненькой корочкой льда... Вот тогда... кто мешает умереть... если хочется?

Двое людей, слушавших Геника, смотрели в сторону, и странные, блуждающие улыбки сквозили на их лицах. Когда же Маслов поднял глаза, желая что-то сказать, Геника в комнате уже не было.

Снизу, по лестнице, поднималась девушка и, увидя Геника, радостно остановилась. Теперь-то, наконец, ей объяснят все.

– Я приехала... – сказала она. – Здравствуйте! Как я рада, ужасно рада, право!

Геник вздрогнул и слегка растерялся. Потом поздоровался и молча посмотрел в спокойные, ясные, ничего не знающие глаза. Но говорить было нечего, и он сказал только:

– А, вот как!.. Приехали, значит?

– Да.

Люба молча, вопросительно вздохнула, волнуясь и не зная, что делать. Наконец вопрос, вертевшийся все время на ее языке, сорвался с губ, нерешительный и тоскливый:

– Почему это так... вышло? Скажите мне... Я думала... и ничего не могла... Почему это так?

– Ей-богу, – пробормотал Геник, чувствуя, как странный, мучительно-жгучий, но чистый стыд заливает краской его щеки. – Это... вы к Чернецкому... Он все... он расскажет... я, видите, тороплюсь и...

– А вы... разве не могли бы? – сконфузилась девушка. – Я думала...

Она умолкла, и Геник окончательно растерялся, не зная, что сказать. Не может же он говорить то, что сказано там, наверху.

– Я тороплюсь... – вымолвил наконец он. – Вы простите меня – вот все, что я могу вам сказать. Прощайте...

Люба молчала. Мучительные слезы непонимания и тревоги блеснули в ее глазах.

– Простите, – повторил Геник, спускаясь вниз.

Он торопился уйти. Люба постояла еще немного, печально смотря на быстро удаляющуюся фигуру и, вздохнув, пошла выше.

VI

Геник пересек улицу, обернулся на освещенное окно конспиративной квартиры, остановился и с глухим нетерпением стал рассматривать подвижные тени людей, скользившие за стеклом. Кто-то ходил по комнате, потому что большой, заслоняющий все окно силуэт регулярно придвигался к раме, поворачивался и снова пропадал в глубине. – «Чернецкий! – подумал Геник. – Ходит и слушает... но кого? – Самая легкая тень тронула часть стекла, и Геник, сквозь мутно-желтый свет, различил женщину. – Ну, этой плохо! – вслух сказал он. – Ей-богу, они снова уговорят ее». – Тень отодвинулась, пропала, и вдруг показалось Генику, что всякая связь между ним и теми людьми исчезла.

Это было минутное настроение, но в нем, как и в каждом движении души человека, скрывалась несознанная боль одиночества. Ночь, тишина и грусть замедляли шаги Геника. Он шел по траве, сбоку от тротуара, опустив голову, шаркая ногами в бурьяне, и мысленно представлял себе, что произойдет завтра. Комбинируя и усложняя факты, он тщательно проверял их, вспоминал сегодняшний разговор и снова приходил к выводу, что все случится именно так, как не хотел он.

Решение уже набегало, подсказанное тоскливой яростью неосуществленной правды, но тайный инстинкт жизни отвлекал мысль, заставляя прислушиваться к сонной тишине города. Над крышами шумели деревья; их волнообразный, тоскливый шум звучал хором безжизненных голосов, песней оцепенения. Геник подошел к перекрестку. На досках тротуара, обнажая засохшую грязь, желтел свет уличного фонаря. Мальчишески улыбаясь, Геник вытащил из жилетного кармана монету и бросил ее вверх, стараясь попасть на доску. Медный кружок, тяжело вертясь, брякнулся, перевернулся и лег.

Мучительное желание подразнить себя удержало Геника. Он не нагибался, стоял прямо и тупо смотрел вниз, где лежала, обернувшись или орлом, или решкой, трехкопеечная монета. – «Решка!» – уверенно сказал Геник, крепко, до боли прикусил губу и вдруг, быстро нагнувшись, поднял медяк. Выпал орел.

Прошла минута, другая, но революционер все еще стоял, поглощенный натиском мыслей. Надо было идти домой, обдумать и сообразить дальнейшее. – «Все будут поражены! – сказал Геник. – Честное слово, они объяснят это моим упрямством. А что, если бы выпала решка?»

Он сунул руку в карман, ощутив странное удовлетворение, когда сталь револьвера коснулась вздрагивающей ладони, и подумал, что, в случае «решки», оставалось бы только перевернуть монету орлом вверх.

Он широко размахнулся, решительно стиснул зубы и бросил монету в спокойную темноту ночи.

Малинник Якобсона

I

Геннадий долго сидел на набережной, щурясь от солнца и задумчивого речного блеска, пока острая тоска внутренностей не заставила его снова встать и идти на ослабевших ногах. Требовательный, злобный голод подталкивал его вперед, к маленьким тесным улицам, где в окнах домов меланхолически пахло воскресными пирогами, маслом, изредка и легким спиртным дыханием подвыпивших обывателей.

Сплеывая, чтобы не так тошнило от голодной слюны, попадавшей в пустой желудок обильными, раздражающими глотками, Геннадий плелся в теневой стороне домов, стиснув за спиной веснушчатые, покоробленные трудом руки. Он был плюгав, тщедушен и неповоротлив; наивные голубые глаза сидели в его по-воробьиному взъерошенном, осунувшемся лице с выражением тоскливого ожидания. Он хотел есть, все его существо было проникнуто этой глубокой, священной мыслью. Рабочие, эстонцы и латыши, шли мимо него под руку с чисто одетыми женщинами и девушками.

«Жрали уже...» – завистливо подумал он, кряхтя от негодования.

Улица загибалась вниз, к набережной, и Геннадий снова увидел воду, но не повернул обратно, а двинулся вдоль реки, по узкой полосе мостовой. Маленький, старинный городок отошел назад, навстречу попадались телеги, рыбацьи домики, лодки, плоты. Через две-три сотни шагов Геннадий остановился, присел на выдавшийся из глинистого откоса камень, свернул «собачью ногу» из махорки и хмуро плюнул в пространство.

Перед ним, переливаясь вечерним светом в зеленой полосе берегов, катилась река; у правого берега, разгружаясь и нагружаясь, стояли иностранные парусные корабли, паровые шхуны и барки¹³. Свернутые паруса, реи, просмоленные, исцарапанные погрузкой борта дышали крепкой морской жизнью, свободой и тяжелым трудом и чем-то еще, похожим на затаенную тоску о далеком, всемирной родине, гармоничных углах мира, беспокойной свободе.

– За тридевять земель, – коротко вспомнил Геннадий.

Чужие страны развернулись перед ним, как противоположность его собственному, полуголодному существованию. Он представлял себе невероятно тучные, бархатного чернозема поля, здоровеннейших, краснощеких людей, огромной величины коров, лоснящихся богатырей-коней, синее, аккуратно дождливое небо и отсутствие странников. Хозяева этой прекрасной страны ходили в ослепительно-ярком платье, не расставаясь с золотом.

Докурив, Геннадий тоскливо осмотрелся вокруг. Чужой город вызывал в нем легкую, тревожную злобу чистотой и уютностью старинных маленьких улиц; протянуть руку за милостыней здесь было почему-то труднее, чем в любом другом месте. Он встал, тихо, сосредоточенно выругался и зашагал по берегу с твердым решением попросить кусок хлеба у первого попавшегося окна.

II

Деревянный одноэтажный дом, к которому подошел Геннадий, стоял почти у самой воды. На Колях, возле небольших мостков, сушился невод, в окне, уставленном горшками с растениями, колыхались чистые занавески. На крыльце, у почерневшей, массивной двери сидел,

¹³ Барка – небольшая деревянная баржа с открытой палубой.

покуривая английскую трубку, человек лет семидесяти, колоссального роста, одетый в кожаную, подбитую красной фланелью куртку и высокие сапоги. Лицо, изъеденное ветром и жизнью, пестрело множеством крепких, добродушных морщин, рыжие волосы, выбритая верхняя губа и умные зрачки серых глаз сделали его похожим на грубое стальное изделие, тронутое желтизной ржавчины.

– Здрасьте! – сказал Геннадий, угрюмо ломая шапку.

Старик кивнул головой. Геннадий натужился, вобрал воздух и вдруг, жалко улыбаясь, сказал:

– Не будете ли так добры, Христа ради, кусок хлеба безработному? Верьте совести – не жравши два дня.

– Работай... – меланхолически произнес старик, пуская трубкой дым. Лицо его стало натянутым и рассеянным. – Работа есть, много работы есть.

– Игде? – с отчаянием воскликнул Геннадий. – Вот ей-богу, каждый так говорит, а поди достань ее. Хлопок грузили малость, это верно, а опосля и затерло. И то есть, как я попал сюда – не приведи бог!

– Марта! – крикнул старик и по-эстонски прибавил несколько слов, в тоне которых Геннадий уловил спокойное приказание. – Ты из Питера?

Геннадий открыл рот, но в это время на крыльцо вышла круглая, быстрая в движениях девушка, с загорелыми босыми ногами, протягивая ему кусок хлеба и новенький монополярный грош. Он взял то и другое, хлеб сунул за пазуху, а грош повертел в руках и неловко зажал в ладони.

– Премного благодарствуйте, – сказал он, отойдя в сторону.

Старик молча кивнул головой, девушка смотрела вслед удалявшемуся Геннадию прямо и равнодушно. Свернув в ближайший, каменистый, вытянутый меж двух высоких заборов переулок, Геннадий торопливо присел на корточки и съел хлеб.

Полуфунтовый кусок мало утолил его вожделение; высыпав с ладони в рот быстро высохшие крошки, он встал, голодный не менее, чем десять минут назад. Новенький, красноватый грош тупо блестел в его задрожавших от еды пальцах; Геннадий скрипнул зубами и злобно швырнул монету в побуревшую от жары крапиву.

– Чухна¹⁴ рыжая, – сосредоточенно выругался он, облизывая припухлым языком сухие губы. Небо и десны ныли, натруженные сухой жвачкой. – Рыбу жрут, мясо... небось, – продолжал он, вспоминая невод и кур, бродивших у калитки. – Мужик... тоже!..

Саженный забор, торчавший перед ним острыми концами почерневших от дождя вертикальных досок, кой-где расходился узенькими, молчаливыми щелями. Низ их скрывался в репейнике и крапиве, середина зеленела изнутри, и изнутри же верхние концы щелей пылали нежным румянцем, словно там, в огороженном небольшом пространстве, светилось вечерней зарей свое, маленькое, домашнее, пятивершковое солнце. Геннадий прильнул глазом к забору, но не увидел ничего, кроме зеленой, красноватой каши. Угрюмое любопытство бездельника, которого раздражает всякий пустяк, подтолкнуло Геннадия. Осмотревшись, он подхватил валявшийся невдалеке кол, приставил его к забору и, подтянувшись на длинных, цепких руках, выставился по пояс над заостренными концами досок.

Перед ним был малинник, принадлежавший, без сомнения, тому самому старику эстонцу, с которым он разговаривал десять минут назад. Внутренний фасад дома горел в низком огне вечернего солнца отражением стекол, яркими цветами, рассаженными по длинным, полным сочного чернозема ящикам, и путаницей кудрявых вьюнков, громоздившихся на водосточные трубы. Все остальное пространство высокого ограждения рябило багровым светом наливающейся малины.

¹⁴ Чухна – в дореволюционной России – презрительное прозвище эстонцев.

– Госпожа ягодка! – умилился Геннадий, и в сердце его дрогнуло что-то родное, крестьянское, в ответ безмолвному голосу этого взлелеянного, выхоленного, как любимый ребенок, крошечного куска земли. Он пристально рассматривал отдельные, рдеющие на солнце ягоды, и челюсти его сводило от сладкой, кисловатой слюны.

III

Геннадий спрыгнул и отошел в сторону. Малинник, пылающий ягодами, стоял перед его глазами, сквозь серый забор, заросший со стороны переулка крапивой и одуванчиками, мерещились ему пышные, высокие лозы, посаженные на одинаковом расстоянии друг от друга, и зубчатая листва, обрызганная красным дождем. Вершины лоз, заботливо подвязанных, каждая отдельно, суровой ниткой к высоким кольям, – соединялись над узкими проходами, образуя длинные своды из переплета стеблей, освещенных листьев и ягод. На разрыхленной, чисто выполотой земле тянулся дренаж.

Геннадий взволнованно переступил с ноги на ногу. Древний огонь земли вспыхнул в нем, переходя в глухой зуд мучительной зависти. Бесконечные, оплаканные потом поля, тощие и бессильные, как лошади голодной деревни, – выступили перед ним из вечерних дубовых рощ. Соломенные скелеты крыш, чахлые огороды, злобная печаль праздников и земля – милая, грустная, больная, близкая и ненавистная, как изменяющая любимая женщина.

– Эх-ма! – угрюмо сказал Геннадий. – Чухна проклятая!

Расстроенный, он вновь подошел к забору. Бесконечно враждебным, похожим на издевательство, казался ему этот клочок земли; мужик выругался, стукнул кулаком в доску, ушиб пальцы и побледнел.

Это не было пламенное бешенство оскорбленного человека, когда, не рассуждая, не останавливаясь, совершает он, охваченный яростью, – все, что подскажет закипевшая кровь. Холодная, нетерпеливая злоба руководила Геннадием; неопределенное, мстительное настроение, где голод и одиночество, брошенный кусок хлеба и чужой, мужицкий достаток смешивались в тяжком чувстве заброшенности. Трусливо озираясь, Геннадий вскарабкался на забор, тяжело спрыгнул и очутился в зеленой тесноте лоз.

Пряная духота, тишина, полная предательского внимания, и легкий шум крови привели его в состояние некоторого оцепенения. Присев на корточки, он с минуты прислушивался к дремотному дыханию сада, ощупывая глазами пятна теней и света; отдышался, шмыгнул носом и, убедившись, что людей нет, прополз в глубину. Оборванный, исхудавший, трясущийся от ненависти и страха, он напоминал крысу, облитую светом фонаря во тьме погреба. Еще что-то удерживало его руки, словно упругий лесной сук – идущего человека, но, понатужившись, мужик встал, поднял ногу и сильно ударил подошвой в ближайший кол.

Стебли, затрещав, вытянулись на земле. Стиснув зубы, Геннадий бросился всем телом в кусты, топча, ломая, выдергивая с корнем, скручивая и вихляя листья; брызги свежей земли летели из-под его ног и с корней выхваченных растений. Дух разрушения, близкий к истерическому припадку, наполнял его дрожью сладострастного исступления. Перед глазами кружился вихрь, пестрый, как лоскутное одеяло; через две-три минуты малинник напоминал вороха разбросанной, гигантской соломы. Пошатываясь, потный от изнурения, мужик подошел к забору. Спину знобило, усиленные скачки сердца расслабляли, перебивая дыхание. Заторопившись, он стал карабкаться на забор, срываясь, подсакивая, шаркая ногами по дереву; но через мгновение увидел рыжую голову Якобсона, вытянул вперед руки и замер.

Эстонец постоял на месте, раскачиваясь, как медведь, и вдруг положил ладони на плечи Геннадия. Горло старика клокотало и всхлипывало, как у человека с падучей, он хотел что-то сказать, но не смог и бешено обернулся к искалеченным кустам сада. Тогда Геннадий увидел,

что рыжие вихры Якобсона тускнеют. На голову старика садилась таинственная, белая пыль: он быстро седел. Тягучий ужас раздавил мужика.

– Ты что делал? – хрипло спросил эстонец.

– Пусти! – взвизгнул Геннадий, подымая руки к лицу. Но его не ударили. Железные, пытливые пальцы давили плечи так, что болела шея.

– Ты ломал! – сказал шепотом Якобсон. От горя и волнения он не мог вскрикнуть и судорожно мотал головой. – Что будем делать теперь?

«Убьет!» – подумал Геннадий, тоскливо следя за прыгающими зубами эстонца. Мужику захотелось завывать, убежать вон, уткнуться лицом в землю.

– Я работал, – продолжал Якобсон, – десять лет. Ты приходил. Ты просил хлеба. Я дал тебе хлеб. Зачем был неблагодарным и ломал?

– А вот и ломал! – почти бессознательно, срывающимся голосом произнес Геннадий.

Отчаяние толкало его к вызову.

– Бей! Что не бьешь? Ломал! Э-ка! Чухна проклятая!

Загнанный, он озверел и теперь готов был на все. Пересохший язык бросил еще одно бессмысленное ругательство. Но не Якобсона хотел оскорбить он, а все, что появилось неизвестно откуда, рядом с обездоленной пашней, первобытным веретеном и мякиной: город, господа, книги, звон ресторанного оркестриона – неведомыми путями соединились в его сознании с нерусским, выхоленным куском земли. Но он не смог бы даже заикнуться об этом.

Старик согнулся, и вдруг голова его куда-то исчезла. В тот же момент Геннадий задохнулся от сотрясения, увидел под собой край забора, вверху – небо и грузно шмякнулся в переулок, затылком о камень. Багровый свет брызнул ему в глаза; он вскрикнул и потерял сознание.

Через полчаса он очнулся и сел, покачиваясь от слабости. Острая боль рвала голову. Поднявшись, мужик нащупал дрожащими пальцами висок, мокрый от крови, и заплакал. Это были теплые, злые слезы. Он плакал, неведомо для себя, о беспечальном мужицком рае, где – хлеб, золото и кумач.

Тайна леса

I

Гудок заревел. И толпа черных людей ринулась в фабричные ворота. Спеша и перегоняя друг друга, они наполнили вечерний воздух смутным гулом, криками и ругательствами.

Дорога в город шла лесом. Лес, пьяный от воздуха, очаровательная тишина чащи, пахучий сумрак полян, – чего еще требовать от земли – жалкой, пригородной земли севера? Бродить в лесу вечером – значит купаться в теплой, смолистой ванне.

Лес, или парк – как угодно, был прорезан тропинками. Каждая из них довольно болтливо говорила о том, кому принадлежат ноги, проложившие ее.

Там, где бродили влюбленные, образовались петли, спирали, неровные причудливые зигзаги, прерываемые более или менее широкими, утоптанymi местами, где она садилась, а он клал ей голову на колени, примасиваясь в траве. Охотники оставляли глубокие, запутанные следы, терявшиеся в зарослях. Рабочие проложили широкую, почти прямую тропу, ведущую от опушки к городу через самое сердце леса. Им некогда было ни останавливаться, ни сворачивать.

Так шли они каждый вечер, прямой, скучной тропой возвращения, в одиночку, попарно, группами, задыхаясь от быстрой ходьбы. Кругом благоухал лес, невидимые цветы кропили воздух ароматным благословением. «Спокойной ночи, земля!» – говорило небо, закрывая глаза. Но голубые зрачки их еще долго, полусонные и ласковые, следили за миром.

Угрюмый полировщик двигался медленным развалистым шагом. Попутные кабачки вставали перед его глазами, и пьяный дух стойки заносил над его душой властную руку демона. Это был человек, за неимением водки прибегающий к лаку и политуре, ибо всякому порядочному человеку известно, как много спирта в этих вещах.

Темнело, благодать сумерек окутывала стволы сосен, ели казались черными, замолкли иволги, осторожно стучал дятел. Зеленые огни светляков вспыхнули крошечными, двигающимися изумрудами: погасло небо.

Все медленнее шел полировщик – и были тому причины. Жена поджидала его с сжатыми кулаками. Он знал это так же верно, как то, что вчера была получка и он, отец трех детей, ночевал не дома, а на кровати с ситцевыми занавесками, бок о бок с купленным за два рубля телом. И пропил он, как последняя каналья, все свое жалованье.

Совість его была спокойна. Давным-давно, полируя дерево для вагонных окон, обдумал он, день за днем, год за годом, всю свою жизнь и отчетливо решил плюнуть на всех и на все. Угнетенный промозглым воздухом городского подвала, кислым ароматом пеленок, ненавистным до одури утомлением труда, долгами и драками с женой в дни получек, – он отводил душу в зеленом тумане хмеля, где плавают красные глаза пьяниц и пахнет свалками. Это была ничтожная, нелепая месть дикаря ушибившему его дереву.

II

Когда последний рабочий торопливо обогнал полировщика, стремясь к горшку с кашей и сну, – полировщик свернул с тропы и углубился в темноту леса, путаясь в серых от росы кустах и кочках, покрытых упругим мохом. Он выдумал кое-что и хихикал, улыбаясь новизне положения. Один день отсрочки казался ему блаженством: ночь в лесу, день на работе, и только завтрашний вечер оскалит румяный рот на окна подвала, где будет вопить взлохмаченная, кост-

лявая, плоскогрудая женщина, требуя денег. Да, он решился переночевать в лесу. Подходящие к случаю пословицы прыгали в голове. День да ночь – сутки прочь. Летом каждый кустик ночевать пустит. Лег – свернулся, встал – встряхнулся.

В глубоком молчании тишины прозвучал отрывистый, тупой звук, охнуло эхо, и все стихло. И стало еще тише, чем раньше. Полировщик остановился, прислушался, лениво махнул рукой и снова побрел, тяжело придавливая сапогами скользкую хвою. Он мог бы, конечно, лечь просто там, где стоял, но ему все время казалось, что впереди, шагов за пять – пятнадцать, приготовлено какое-то место поудобнее. Но это был просто лес – трава, корни, кусты и кочки.

Он шел, пока не споткнулся, сунувшись на четвереньки, лицом в мелкий рябинник. Руки его уперлись в мягкое, податливое; ноготь скользнул по пуговице. Толчок был довольно силен, и полировщик выпрямился скорей, чем упал, приготовляясь на всякий случай к возражению действием.

Лежащий безмолвствовал. Мало того – он даже не захрапел и не перевернулся на другой бок, как это принято у порядочных пьяниц, когда их тревожат.

– Ох, сердце мое! – сказал испуганный полировщик, хватаясь за левый бок, и стал искать спички. Они у него были раньше, а теперь упорно не находились...

– Почему же нет спичек? – обиженно спросил полировщик. – А были хорошие спички, пороховые. Спички, которые в жилетном кармане – и сбеги! Вот покури теперь тут, кузькина мать, покури!

– Хорошо, – продолжал он после некоторого размышления. – Я, представьте, иду ночью – и ежели еще в потемках пьяное туловище спящее, то я без спичек не могу осветить его физиономии! Спишь! Спи, спи, приятель, до сладостного утра. Где ты, там и я. Жилеточку постелю, пиджачком накроюсь, чтобы, значит, дух теплый из глотки под мышки шел, а в головы, с вашего позволения, пьяное благородие, сунем кустик. Так оно все и выйдет.

И, разговаривая, он стал укладываться, довольный близким соседством пьяного, но живого тела, быть может, знакомого слесаря или литейщика, с которым завтра они будут тарашить друг на друга заспанные глаза, вздрагивая от резкого холода. Прежде, чем лечь, он ткнул спящего в бок и, стоя на коленях, долго прислушивался к хриплému, рвущемуся дыханию. А тот был неподвижен и молчалив.

III

Полировщику не спалось. Тьма беззвучно клубилась перед его глазами; хвоя колола шею; он вертелся, вздыхая и охая, как самый добродетельный человек, мучимый совестью за кражу в детстве соседского яблока. Тысячи ушей выросли на его голове; телом, сапогами и брюками, даже последней пуговицей ловил он разнообразный шепот леса, микроскопические звуки тишины, сонные голоса ночи. Вкрадчивая, напряженная тревога смотрела ему в глаза густым мраком. Рядом хрипел пьяный.

Полировщик, поворочавшись минут пять, лег на спину. Душная, смолистая сырость распирала его легкие, ноздри, прочищенные воздухом от копоти мастерской, раздувались, как кузнечные меха. В грудь его лился густой, щедрый поток запахов зелени, еще вздрагивающей от недавней истомы; он читал в них стократ обостренным обонянием человека с расстроенными нервами. Да, он мог сказать, когда потянуло грибами, плесенью или листовным перегноем. Он мог безошибочно различить сладкий подарок ландышей среди лекарственных брусники и папоротника. Можжевельник, дышавший гвоздичным спиртом, не смешивался с запахом бузины. Ромашка и лесная фиалка топили друг друга в душистых приливах воздуха, но можно было сказать, кто одолевает в данный момент. И, путаясь в этом беззвучном хоре, струился неиссякаемый, головокружительный, хмельной дух хвойной смолы.

Полировщик лежал, слушая, как глухо, с замираниями и перебоями, стучит его сердце, отравленное алкоголем. Томительное волнение боролось в его душе с дремотой. Сон убежал вдруг, большими, решительными скачками; мысли, похожие на шелест ночного ветра, наполнили голову; тонкая, капризная грусть стеснила волосатую шею. Полировщик вздыхал, охал; темные невысказанные желания распирали его. В траве, резко отделенные ничтожным пространством, ползли сосредоточенные, извилистые шорохи.

Сперва ухо поймало два или три из них, но потом их прибавилось; невидимая армия насекомых пробиралась в стеблях и хвое, снуя по всем направлениям, и чудилось, что тихо, чуть слышно, звенит трава. Измученный смех совы просыпался в глубине леса. Вслед за этим детский, отчаянный плач зайца резнул ухо и смолк. Прошла минута безмолвия; где-то поблизости разбуженная, маленькая, как орех, синкагайка пропела печальным, милым, отрывистым свистом, фыркнула крыльями и утихла. Кукушка подала голос, ее отчетливые, мелодичные восклицания звучали подобно металлическому шарик, подскакивающему на медном подносе. И с недалекой реки жалобной флейтой пропел кулик, вспархивая над сонной водой.

– Мать честная, отец праведный! – сказал полировщик. – Одно беспокойство, а не то, чтобы что-нибудь.

Нестройная армия воспоминаний маршировала в его возбужденной голове. Палящий, краснощекий, голубоглазый деревенский зной полудня вспыхнул и закружился ослепительным светом. Уютный простор полей пестрел крыльями голубей, лохматыми, увядающими снопами и движущейся вереницей красных бабьих платков. Синяя жидкость озер среди зеленых, плюшевых отворотов осоки.

Крупное дыхание вспотевших лошадиных тел, темные силуэты людей на фоне красной зари. Божественный, великолепный запах земли, сладкий, как только что подоенное молоко, и острый, как запах женщины!

Но это были только расстроенные нервы. Душа этого человека, разбуженная лесом, тянулась к земле, свободной от унылого буханья машинных прессов и мелкой железной пыли, отравлявшей растительность. Он испытывал тяжелое, бессознательное, хныкающее страдание и умиление перед неизвестным, трогающим его щедрой мощностью сил, брызжущих во все стороны, как кровь из раненого, полнокровного тела. Он только сказал, вспоминая слова песни:

Хорошо бы во лесочке Под-оехать ко милочке...

К себе он чувствовал сладкую, тягучую жалость и глубокую ненависть за все: нищету города и слякоть подвала, убийственный монотонный труд и золотушных детей. И за то, что никак не мог уяснить – чего же он хочет, и чего не хочет, и где же радость?

Крупное, трехэтажное ругательство выползло на его губы и скорчилось, придавленное безмолвием. Щеки полировщика вздрагивали, а слезящиеся, узенькие глаза скупно точили на них нудную, соленую влагу. Он повернулся лицом к земле и поцеловал ее в колючую хвою нежным, иступленным лобзанием, как целуют грудь женщины.

Но едва ли знал он, почему это так вышло: голова, проспиртованная суточным пьянством, одиночество, расстроенные вконец нервы...

Желтые лоскутки солнца, блеклая ржавчина сосновых стволов и пестрые, цветные лужайки. Небо еще бледно, заспано и холодновато-холодновато, как утренняя вода для горячего, после сна, лица.

Полировщик проснулся. Пробуждение его было резко от холодного воздуха, ночная сырость, постепенно проникая в одежду, копила там дрожь утреннего озноба; полировщик, содрогаясь всем телом, сел, застучал зубами и осмотрелся.

Пьяница лежал рядом, ничком. Тело его, одетое в приличный черный костюм, напоминало положением своим букву Г – раскинутые и согнутые в кистях, ладонями вверх руки. Его шляпа высывалась из-под лица смятым краем, коротко остриженные, черные волосы смотрели на полировщика слепым взглядом затылка. Сохраняя в лице выражение осторожной пре-

дупредительности, полировщик нагнулся, взял руку соседа, испуганно подержал ее несколько моментов и выпустил, рассматривая круглыми, как пуговицы, глазами почерневшую кровь лица. Из-за уха к щеке лежащего тянулась запекшаяся, неровная полоса, и пьяный вчера – сегодня стал для полировщика трупом.

Опущенная рука хлопнулась на траву и, повернувшись, приняла прежнее положение. Возле нее лежал револьвер, полузакрытый стеблями.

– Караул, – закричал полировщик, пяясь, как лошадь от узды. – Ай! Ай! Ай!

Весь в жару от волнения, он то подходил ближе, то оглядывался, топтался, кружась вокруг мертвого, охая бессмысленно, торопливо ругаясь. Труп казался ему обманщиком, чем-то вроде пройдохи, клянчащего на бутылку, и возбуждал в нем острое любопытство, смешанное с презрением.

– Дурак... ах ты господи! Дурак! – выпячивая губы, тянул он. – Руки на себя наложить, какие же это способы... а?

Бодрый от сна, он вспомнил, какой он хороший мастеровой, как его уважает начальство, как в следующую получку он непременно, непременно принесет домой все, решительно все, до одной копейки, и почувствовал к мертвецу презрительную жалость, нечто вроде презрения мужика к барину, выпиливающему по дереву. Затем, струсив, что его могут увидеть здесь, возле трупа, поспешными, большими шагами зашагал в сторону, туда, где по просвечивающей среди деревьев тропе тянулись группы рабочих.

Монотонная ярость гудка будила окрестности. Пар насмешливо выдувал:

Для рабов –
Ни полей,
Ни цветов!

Тихие будни

I

Евгения Алексеевна Мазалевская приехала на лето в деревню к родственникам. Это были ее дядя и тетка по мужу, жена его. Мать девушки умерла, когда дочери минуло шесть лет, отец же, директор гимназии, жил в Петербурге, один. Он был человек желчный и жестокий, нетерпимый к чужому мнению, честолюбивый и резкий, странное соединение бюрократа и либерала. По отношению к дочери он был настоящим Домби, хотя славянская кровь мешала ему выдерживать эту марку вполне. Несомненно, что девушку он любил, так же, как и она его, но с его стороны любовь была раздражительная и деспотическая, требующая подчинения своим взглядам; с ее – простая, но замкнутая и гордая, так как старик никогда почти не высказывался прямо, а лишь замысловатыми, похожими на ребус намеками, и мог привести кого угодно в исступление неожиданными поворотами от скупой мягкости к беспричинному или, по крайней мере, невыясненному озлоблению. Это были тяжелые, обидные для молодой девушки отношения. Причина их крылась, конечно, в характере отца, но причина эта, как и внутренняя его жизнь, для Евгении были секретом. Ее постоянно тянуло к отношениям простым и сердечным, но многие впечатления жизни сложились так, что, утратив ясную непосредственность души, она стала замкнутой и пугливой, внутренне умолкла, как оторопевший от неожиданного оскорбления человек, и проходила жизнь с печальным недоверием к ней, стараясь быть в стороне.

Разумеется, эта бледная городская девушка с удовольствием ушла на время от тяжелых отношений с отцом, от службы (она служила в конторе медицинского журнала) и, улыбаясь летним удовольствиям, отправилась к дяде, которого видела один раз в жизни. Дядя, помещик, страдающий постоянными неудачами в разведении кукурузы, персиков, аргентинских огурцов и других разорительных для северного кармана вещей, рассеянно смотрел на племянницу поверх очков наивными глазами благодушного дворянина, совал ей в руку сельскохозяйственные брошюры, рассказывал о клубнике, а по утрам, с газетой в руках, усердно растирая лоб, стучал в дверь Евгении. «Смотри-ка, – говорил он, входя, – удивительнейшее сообщение: оказывается, что в египетском сфинксе эти черти, как их... бельгийцы... открыли храм. Вот удивительно». Видя мужика, он страдал, морщился и говорил «вы», на что мужик почтительно возражал: «Так ты, батюшка, Пал Палыч, уж отколупни выгону, без эстого где же?» Управляющий, он же староста деревенской церкви, воровал, как хотел. Павел Павлович прекрасно играл на рояле; во время игры его лицо становилось дельным и энергичным. Города он не любил; служил раньше по выборам, но бросил, говоря: «Что с ними поделаешь – повернут, как хотят». Его жена, Инна Сергеевна, томная, с болезненным, лимонного цвета, лицом, рыхлая дама, могла часами вспоминать Петербург. Супруги иногда ссорились, шепотом, без увлечения, с досадливой скукой в сердце. Инна Сергеевна, вздыхая, говорила мужу: «Паша, я отдала тебе все, все, – вы узкий, неблагодарный человек», – на что, вытирая вспотевшие очки, Павел Павлович отвечал: «Кто старое вспомнет, тому глаз вон». Гости, боясь скуки, ездили к ним редко и неохотно.

Евгения Алексеевна проводила время в прогулках, чтении, раздумьи, сне и еде. Через две недели она заметно поправилась, порозовела, в глазах появился здоровый блеск. Ленивая тишина лета укрепила ее. В это же самое время в губернском городе соседней губернии произошло следующее.

II

Молодой человек Степан Соткин, из мещан, после долгого отсутствия вернулся домой. Он прослужил три года, где и как придется, в разных местах России: кассиром на пароходе, весовщиком на станции, кондуктором и агентом полотняной фирмы. Он не переписывался с родителями почти год, так что, по возвращении, для него было большой и серьезной новостью известие о смерти старшего брата, в силу чего Степану Соткину приходилось тянуть жребий. Призывных в этом году было немного, льготный жребий требовал счастья исключительного, а забраковать Соткина не могли, потому что это был человек здоровый, рослый и быстрый.

Вечером в саду под бузиной произошло семейное чаепитие. Старик Соткин, вдовец, сторож казенной палаты сказал:

– Отымут тебя, Степан. Гриша померши, а тебе – лоб. С Петькой останусь.

– Это еще неизвестно, – ответил Степан. – Я, собственно, к военной службе охоты никакой не имею.

После четырех лет скитаний он думал о солдатской лямке с ненавистью и отвращением. С шестнадцати лет Соткин привык жить вполне независимо, переезжая из города в город, тратя, как хотел, свои силы, труд и деньги. Ему вспомнилась бойкая, цветная Москва, голубая Волга, гул ярмарки в Нижнем, нестройная музыка Одесского порта; перед ним, окутанный паровозным дымом, бежал лес. И Соткин покрутил головой.

– Да, неохота, – повторил он.

– Выше ушей не прыгнешь, – сказал старик. – Бежать, что ли? В Англию. Два года восемь месяцев, – авось стерпишь.

Соткин вздохнул и, выйдя побродить, зашел в пивную. Там, сжав голову руками, он просидел за бутылками до закрытия и, тщательно обсудив положение, решил, что служить придется. Жизнь за границей и манила его, но и пугала невозможностью вернуться в Россию. «Служить так служить, – сказал он, подбрасывая в рот сухарики, – так и будет».

Его назначили в Пензу. Обычное недоумение и растерянность новобранцев перед новыми условиями жизни (в большинстве – «серых» деревенских парней), а также наивное тщеславие их, удовлетворяемое красными новенькими погонами, треском барабана и музыкой, были чужды Соткину. Как человек бывалый и развитой, он быстро усвоил всю несложную мудрость шагистики и вывертывания носков, выправку, съедание начальства глазами, ружейный механизм и – так называемую «словесность». Ровный, спокойный характер Соткина помогал ему избегать резких столкновений с унтерами и «старыми солдатами», помыкавшими новичками. Он не старался выслужиться, но был исполнительен. Все это не мешало ближайшему начальству Соткина – подвзводному, взводному, фельдфебелю и каптенармусу (играющему, обыкновенно, среди унтеров роль Яго; теплое, хозяйственное положение каптенармуса – предмет зависти – делает его сплетником, интриганом и дипломатом) – относиться к молодому солдату холодно и неодобрительно.

Есть порода людей, к которым можно, изменив, отнести слова Гольдсмита: «Я вполне уверен, что никакие выражения покорности не вернут мне свободы и на один час». Соткин мог бы сказать: «Никакие усилия быть образцовым солдатом не доставят мне благоволения унтеров».

Соткин принадлежал к числу людей, которые обладают несчастной способностью, находясь в зависимости, вызывать, без всякой своей заботы об этом, глухую беспричинную вражду со стороны тех, от кого люди эти зависят. Провинностей по службе и дисциплине за ним никаких не было, но внутреннее отношение его к службе, вполне механическое и безучастное, – неумение заискивать, вылезать, льстить, изгибаться и трепетать – выражалось, вероятно, вполне бессознательно, в пустяках: случайном, пристальном или беглом взгляде, улыбке,

тоне голоса, молчании на остроту унтера, спокойных ответах, быстрых движениях. Он чистил фельдфебелю сапоги, не морщась, но только по приказанию; другие же, встав рано, с непонятным сладострастием угодливости работали щетками. Он, кроме всего этого, пил каждый день чай с белым хлебом и не должен был маркитанту. Солдаты уважали его, а мелкая власть, холодно поблескивая глазами, смотрела на Соткина туманно-равнодушным взглядом кота, созерцающего воробьев в воздухе.

Такие отношения, разумеется, рано или поздно, должны были обостриться и выясниться. Наступил лагерный сбор. За Сурой раскинулись белые, среди зеленых аллеек, палатки О-ского батальона. Солдаты, возвращаясь с учебной стрельбы, хвастались друг перед другом меткостью прицела, мечтая о призовых часах. Соткин, стреляя плохо, редко пробивал мишень более чем двумя пулями из пяти. Первый окрик фельдфебеля: «Соткин, смотри!» – и второй: «Ворона, а еще в первой роте!» заставили его целиться тщательнее и дольше; однако, более чем на три пули махальный не показывал ему красный значок. Через месяц перешли к подвижным мишеням.

На горизонтальном вращающемся шесте, за триста шагов, медленно показываясь из траншеи и пропадая, выскакивали поясные фигуры. Взвод стрелял лежа. Удушливая, огненная жара струила над полем бесцветные переливы воздуха, мушка и прицельная рамка блестели на солнце, лучась, как пламя свечи лучится прищурившемуся на нее человеку. Целиться было трудно. Вдали, на уровне глаз, ныряли, величиной с игральную карту, двухаршинные поясные мишени.

Соткин, удерживая дыхание, прицелился и дал мишени исчезнуть с тем, чтобы выстрелить при следующем ее появлении.

Мишень появилась. Соткин выстрелил, пуля, выхлестнув далеко пыль, запела и унеслась. Он истратил зря и остальные четыре патрона, не попал.

– Под ранец, – сказал ротный. Соткин густо покраснел и насупился. Ему приходилось в первый раз отбывать наказание. Досада и беспричинный стыд овладели им, как будто он, действительно, чем-то замарал себя в глазах окружающих, но скоро понял, что стыдно лишь потому, что придется стоять истуканом в полном походном снаряжении два часа, все будут смотреть и хоть мысленно улыбаться.

Рота, кончив стрельбу, с молодецкими песнями о «генерал-майоре Алхаз» и «крутящемся голубом шаре», вернулась в лагерь. Соткина разыскал взводный.

– Соткин, – равнодушно сказал он, кусая губу, – оденься и на линейку.

Солдат, выслушав приказание, вернулся в палатку, повесил на себя все, что требовалось уставом, – манерку, патронташи, скатанную шинель, сумку, взял винтовку и вышел, готовый провалиться сквозь землю. Красный, как пион, Соткин смотрел в холодное лицо унтера едва не умоляющими глазами. Унтер, осмотрев снаряжение, отвел Соткина к середине линейки и поставил лицом к лагерю...

– Так-то, – сказал он и посмотрел на часы, а затем ушел.

Соткин взял «на плечо». Солдаты, проходя мимо него, бросали косые взгляды – так странно было видеть под ранцем именно Соткина. Он, обливаясь потом, мучился терпеливо и стойко; нестерпимо жгло солнце, накаливая затылок, и от жары в ноющем от тяжести и неестественного положения руки теле пробегал нервный озноб. Седой фельдфебель, улыбаясь в усы, подошел к Соткину, открыто и ласково посмотрел ему в глаза и так же ласково произнес:

– Ближе носки. Локоть.

Прошло два часа. Соткина отпустили, он пришел в палатку и долго, делая вид, что чего-то ищет, рылся в сундучке, избегая разговаривать с товарищами. Смущение его прошло только к вечеру.

Через день снова была стрельба, но на этот раз – случайно или нет – Соткин попал из пяти четыре. Солдат облегченно вздохнул.

– В первый разряд попадешь, – монотонно сказал ему, проходя в цепи, взводный, – на приз выйдешь, часы получишь.

Он, конечно, смеялся. Соткин так это и понял, но только махнул рукой, думая: «Собака лает – ветер носит». Их глаза встретились на одно лукавое, немое мгновение, и Соткину стало ясно, что унтер определенно и жестоко будет ненавидеть его за все, что бы он ни сделал, плохо или хорошо – все равно, за то, что он – Соткин.

Прошло несколько дней. Взвод чистил ружья. Тряпочка, навернутая на конец шомпола, давно уже выходила из дула чистой, как стиральная, и Соткин стал собирать разобранную винтовку. Ефрейтор, наблюдающий за работой, подошел к Соткину.

– Дай-ка взглянуть. – Он поднес дуло к глазам, обратив другой конец ствола к солнцу, смотрел долго, увидел, что вычищено отлично, и поэтому заявил:

– Три. Протирай еще.

– Там ничего нет, – возразил Соткин, показывая протирные тряпки, – вот, посмотрите.

– Если я говорю... – начал ефрейтор, пытаясь подобрать выразительную, длинную фразу, но запнулся. – Почисти, почисти.

Соткин для виду поводит шомполом в дуле минут десять, но уже чувствовал поднимающийся в душе голос сопротивления. Этот день был для него исключительно неприятным еще потому, что утром он потерял деньги, восемь рублей, а вечером произошло обстоятельство неожиданное и крутое.

Человек тридцать солдат, поужинав, собрались в кружок и, под руководством организовавшего это увеселение фельдфебеля, пели одну за другой солдатские песни. Слушая, стоял тут же и Соткин. У него не было ни слуха, ни голоса, поэтому, не принимая участия в хоре, он ограничивался ролью человека из публики. Разгоряченный, охрипший уже фельдфебель, без шапки, в розовой ситцевой рубашке, простирая над толпой руки, яростно угрожал тенорам, выпирал басов и тушевал так называемые «бабьи голоса», обладатели которых во всех случаях были рослыми мужиками. Стемнело, в городе блеснули огоньки.

– Соткин, пой, – сказал фельдфебель, когда песню окончили. – Ты не умеешь, а?

– Так точно, не умею. – Соткин улыбнулся, думая, что фельдфебель шутит.

– Ты никогда не пел?

– Никогда.

– Постой. – Фельдфебель вышел из круга и, подойдя к солдату вплотную, внимательно осмотрел его с ног до головы. – Учись. «До-ре-ми-фа»... Ну, повтори.

– Я не умею, – сказал Соткин и вдруг, заметив, что маленькие глаза фельдфебеля зорко остановились на нем, насторожился.

– Ну, пой, – вяло повторил тот, полужакрывая глаза.

Соткин молчал.

– Ты не хочешь, – сказал фельдфебель, – я знаю, ты супротивный. Исполни приказание.

Соткин побледнел; в тот же момент побледнел и фельдфебель, и оба, смотря друг другу в глаза, глубоко вздохнули. «Так не пройдет же этот номер тебе», – подумал солдат.

– Сполни, что сказано.

– Никак нет, не умею, господин фельдфебель, – раздельно произнес Соткин и, подумав, прибавил: – Простите великодушно.

Радостная, веселая улыбка озарила морщины бравого служаки.

– Ах, Соткин, Соткин, – вздыхая, сказал он, сокрушенно покачал головой и, сложив руки на заметном брюшке, весело оглянулся. Солдаты, перестав петь, смотрели на них. – Иди со мной, – сухо сказал он, более не улыбаясь, сощурил глаза и зашагал по направлению к городу.

Взволнованный, но не понимая, в чем дело, Соткин шел рядом с ним. За его спиной грянула хоровая. Невдалеке от лагеря тянулся старый окоп, густо поросший шиповником и крапивой; в кустах этих фельдфебель остановился.

– Учили нас, бывало, вот так, – сказал он, деловито и не торопясь ударяя из всей силы Соткина по лицу; он сделал это не кулаком, а ладонью, чтобы не оставить следов. Голова Соткина мотнулась из стороны в сторону. Оглушенный, он инстинктивно закрылся рукой. Фельдфебель, круто повернув солдата за плечи, ткнул его кулаком в шею, засмеялся и спокойно ушел.

Соткин неподвижно стоял, почти не веря, что это случилось. Обе щеки его горели от боли, в ушах звенело, и больно было пошевелить головой. Он поднял упавшую фуражку, надел и посмотрел в сторону лагеря. Солдаты пели «Ой, за гаем, гаем...», в освещенных дверях маркитантской лавочки виднелись попивающие чаек унтеры. Смутно белели палатки.

– А меня бить нельзя, – вслух сказал Соткин, обращаясь к этой мирной картине военной жизни. – Меня за уши давно не драли, – продолжал он, – я не позволю, как вы себе хотите.

Он посидел минут пять на земле, глотая слезы и вспоминая противное прикосновение кулака, затем пробрался в палатку, накрылся, не раздеваясь, шинелью и стал думать.

Впереди было два года службы. За это время могло представиться еще много случаев для вспыльчивости начальства, а Соткин, человек не из любящих покорно сносить оскорбления, мог, не удержавшись, вспылить, наконец, сам, что обыкновенно вело еще к худшему. Он знал по рассказам историю некоторых солдат, затравленных до каторги, это происходило в такой последовательности: светлый и темный карцер, карцер по суду, дисциплинарный батальон, кандалы. Но трудно было ожидать перемены ветра. Воспоминания говорили Соткину, что начальство, перебивающее окриком: «Эй ты, профессор кислых щей, составитель ваксы, – на молитву!» – какой-нибудь пустяшный рассказ солдатам об Эйфелевой башне, – пользуется своей властью не только в деловых целях, но и потому, что это власть, вещь приятная сама по себе, которую еще приятнее употребить бесцельно по отношению к человеку душевно сильному. В этом был большой простор для всего.

«Могу здесь погубить свою жизнь, на это пошло», – думал Соткин. Наконец, приняв твердое решение более не служить, он уснул.

Через день Соткина утром на переключке не оказалось. Фельдфебель написал рапорт, ротный написал полковому, полковой в округ; еще немного чернил было истрачено на исправление продовольственных ведомостей, а в городских и уездных полициях отметили, почесывая спину, в списках иных беглых и бродящих людей, мешанина Степана Соткина.

III

– Очень люблю я ершей, – сказал Павел Павлович, подвигая жене тарелку, – только вот мало в ухе перцу.

Обедали четверо – дядя, тетка, Евгения Алексеевна, и старый знакомый Инны Сергеевны, которого она знала еще гимназистом, – Аполлон Чепраков, земский начальник. Это был человек с выпуклым ртом и такими же быстро бегающими глазами; брил усы, носил темную бородку шнурком, похожую на ремень каски, имел курчавые волосы и одевался, живя в деревне, в спортсменские цветные сорочки, обтянутые по животу широким, с цепочками и карманами, поясом. Особенным, удивительным свойством Чепракова была способность говорить смаху о чем угодно, уцепившись за одно слово. Он гостил в имении четыре дня, ухаживал за Евгенией Алексеевной и собирал коллекцию бабочек.

– Да, в самом деле, – заговорил Чепраков, – ерш с биологической точки зрения, ерш, так сказать, свободный – одно, разновидность, а сваренный, как, например, теперь, – он ковырнул ложкой рыбку, – предмет, требующий луку и перцу. Щедрин, так тот сказку написал об ерше, и что же, довольно остроумно.

– Пис-карь, – страдальчески протянул Павел Павлович, – пис-карь, а не ерш.

– А, – удивился Чепраков, – а я было... Я ловил пискарей... когда это... прошлым летом... Евгения Алексеевна, – неожиданно обратился он, – вы напоминаете мне плавающую в воде рыбку.

– Аполлон, – вздохнула Инна Сергеевна, жеманно сося корочку, – посмотрите, вы сконфузили Женю, ах, вы!

– Галантен, как принц, – добродушно буркнул Павел Павлович.

Девушка рассмеялась. Большой, легкомысленный Чепраков больше смешил ее, чем сердил, неожиданными словесными выстрелами. Он познакомился с ней тоже странно: пожав руку, неожиданно заявил: «Бывают встречи и встречи. Это для меня очень приятно, я поражен», – и, мотнув головой, расшаркался. Говорил он громко, как будто читал по книге не то что глухому, а глуховатому.

– Аполлон Семеныч, – сказала Евгения, – я слышала, что вы были опасно больны.

– Да. Бурса мукоза. – Чепраков нежно посмотрел на девушку и повторил с ударением: – Мукоза. Я склонял голову под ударом судьбы, но выздоровел.

Этой темы ему хватило надолго. Он подробно назвал докторов, лечивших его, лекарства, рецепты, вспомнил сестру милосердия Пудикову и, разговорившись, встал из-за стола, продолжая описывать больничный режим.

Обычно после обеда, если стояла хорошая погода, Евгения уходила в лес, начинавшийся за прудом; дядя, покрыв лицо платком, ложился, приговаривая из «Кармен»: «Чтобы нас мухи не беспокоили», – и засыпал в кабинете; Инна Сергеевна долго беседовала на кухне с поваром о неизвестных вещах, а потом шла к себе, где возилась у зеркала или разбирала старинные кружева, вечно собираясь что-то из них сделать. Чепраков, захватив сетку для бабочек, булавки и пузырек с эфиром, стоял на крыльце, поджидая девушку, и, когда она вышла, заявил:

– Я пойду с вами, это необходимо.

– Пожалуйста. – Евгения посмотрела, улыбаясь, в его торжественное лицо.

– Необходимо?

– Да. Вы – слабая женщина, – снисходительно сказал Чепраков, – поэтому я решил охранять вас.

– К сожалению, вы безоружны, а я, как вы сказали, – слаба.

– Это ничего. – Чепраков согнул руку. – Вот, пощупайте двуглавую мышцу. Я выжимаю два пуда. У меня дома есть складная гимнастика. Почему не хотите пощупать?

– Я и так верю. Ну, идемте.

Они обогнули дом, пруд и, перейдя опушку, направились по тропинке к местной достопримечательности – камню «Лошадиная голова», похожему скорее на саженную брюкву. Чепраков, пытаясь поймать стрекозу, аэропланом гуляющую по воздуху, разорвал сетку.

– Это удивительно, – сказал он, – от ничтожных причин такие последствия.

– Ну, я вам зашью, – пообещала Евгения.

– Вы, вашими руками? – сладко спросил Чепраков. – Это счастье.

– Да перестаньте, – сказала девушка, – идите смирно.

– Нет, отчего же?

– Оттого же.

«Право, я начинаю говорить его языком», – подумала девушка. Говорливость Чепракова парализовала ее; она с неудовольствием замечала, что иногда бессознательно подражает ему в обороте фразы. Его манера высказываться напоминала бесконечное, надоедливое бросание в лицо хлебных шариков. «Неужели он всегда и со всеми такой? – размышляла Евгения. – Или рисуется? Не пойму».

Остро пахло хвоей, муравьями и перегноем. Красные стволы сосен, чуть скрипя, покачивали вершинами. Чепраков увидел синицу.

– Вот птичка, – сказал он, – это, конечно, избито, что птичка, но тем не менее трогательное явление. – Он покосился на тонкую кофточку своей спутницы, плотно облегающую круглые плечи, и резко почувствовал веяние женской молодости. Мысли его вдруг спутались, утратив назойливую хрестоматичность, и неопределенно запрыгали. Он замолчал, скашивая глаза, отметил пушок на затылке, тонкую у кисти руку, родинку в углу губ. «Приятная, ей-богу, девица, – подумал он, – а ведь, пожалуй, еще запретная, да».

– А я завтра в город, – сказал он, – масса дела, разные обязательства, отношения; четыре дня, прекрасно проведенные здесь, принесли мне, собственно, физическую и духовную пользу, и я снова свеж, как молодой Дионис.

– А вы любите свое дело? – спросила, кусая губы, Евгения.

– Как же! Впрочем, нет, – поправился Чепраков. – Я – не кто иной, как анархист в душе. Мне нравится все грандиозное, страстное. Мужики – свиньи.

– Почему?

– Они грубо-материальны.

– Но ведь и вы получаете жалованье.

– Это почетная плата, гонорар, – веско пояснил Чепраков. Он коснулся пальцами локтя Евгении, говоря: – К вам веточка пристала, – хоть веточку эту придумал после долгого размышления. – Теперь вот что, – серьезно заговорил он, бессознательно попадая в нужный тон, – что говорить обо мне, я человек маленький, делающий то, что положено мне судьбою. Вы, вы как живете? Что думаете, о чем мечтаете? Что наметили в жизни? Вот что интереснее знать, Евгения Алексеевна.

– Это сразу не говорится, – заметила девушка.

– Ну, а все-таки? Ну, как?

Искусно впад в искренность, Чепраков сам не знал, зачем это ему нужно; вероятно, он переменил тон путем бессознательного наблюдения, что люди застенчивые часто говорят посторонним то, что не всегда скажут людям более близким, а зачем нужно ему было это, он не знал окончательно.

Они подошли к камню. «Что же я скажу?» – подумала Евгения. Она не знала, какой представляет ее Чепраков, но чувствовала, что не такой, какая она есть на самом деле. В этом, а также в особом настроении, происходящем от того, что иногда случайный вопрос собирает в душе человека его рассеянное заветное в одно целое, – была известная доля желания рассказать о себе. Кроме того, ей было почему-то жаль Чепракова и казалось, что с ним можно, наконец, разговориться без птичек и Дионисов.

– Видите ли, Аполлон Семеныч, – нерешительно начала она, сядя на траву; Чепраков же, подбоченясь, стоял у камня, – у меня в жизни два требования. Я хочу, во-первых, заслужить любовь и уважение людей, во-вторых, – находиться в каком-нибудь большом, очень нужном и важном деле и так тесно с ним слиться, чтобы и я, и люди, и дело, – было одно. Понимаете? Впрочем, я не умею выразить. Но это найти мне не удастся, или я не гожусь, – не знаю. Но ведь трудно, не правда ли, найти такое, в чем не были бы замешаны страсти и личные интересы, честолюбие. Это меня, сознаюсь, пугает. Личная жизнь не должна путаться в это дело ничем, пусть она течет по другому руслу. Тогда я жила бы, как говорят, полной жизнью.

– Н-да, – протянул Чепраков, усаживаясь рядом, – не многим, не многим дано. Я глубоко уважаю вас. А что вы скажете о главном, – главном ферменте жизни? То сладкое, то... одним словом – любовь?

– Ну, да, – быстро уронила Евгения, – конечно... – Она смутилась и разгорелась, затем, как бы оправдываясь и уже сердясь на себя за это, прибавила: – Ведь все равны здесь, и мужчины.

– А как же! – радостно подхватил Чепраков. – Даже очень.

Девушка рассмеялась.

«А я, ей-богу, попробую, – думал Чепраков, – молоденькая... девятнадцать лет... жизни не знает... – Далее он продолжал размышлять, по привычке, как говорил, рублеными фразами: – Как занятно пробуждение любви в женском сердце. Долой лозунги генерала Куропаткина. Милая, вы неравнодушны ко мне. Иду на вы».

– Евгения Алексеевна, – выпалил Чепраков, – вот где была бурса мукоза, а? Посмотрите.

Он быстро засучил брюки на левой ноге по колено, обнажив волосатую икру и белый рубец. Евгения, внезапно остыв, удивленно смотрела на Чепракова.

– Что с вами? – спросила она, вставая.

– Это мукоза. – Чепраков обтянул брюки. – Какая белая кожа... и у вас тоже... рука.

Евгения машинально посмотрела на свою руку и увидела, что эта рука очутилась в руке Чепракова, он поцеловал ее и прижал к левой стороне груди.

– Ну, оставьте, – спокойно, но изменившись в лице, сказала Евгения. – Руки прочь.

– Нет – отчего же? – наивно сказал Чепраков. – Это внезапное, глубокое.

Девушка подняла зонтик, повернулась и неторопливо ушла. Чепраков стоял еще некоторое время на месте, жестко смотря ей вслед, потом фальшиво зевнул, прошел другой тропинкой в усадьбу, взял удочку и просидел на речке до ужина.

За столом он избегал смотреть на Евгению, а она на него; это про себя отметила тетка. На другой день утром Чепраков уехал в город, успев на прощанье шепнуть молчаливой девушке:

– Я пережил тонкие, очаровательные минуты.

IV

Евгения держала в руках письмо, с недоумением рассматривая школьный, полумужской почерк. Наконец, потеряв надежду угадать, от кого это письмо, так как в уездном городе знакомых у нее не было, а штемпель на конверте гласил: «Сабуров», девушка приступила к чтению.

– Что, что такое?.. – вскричала она вне себя от изумления и обиды. Держа письмо дрожащей рукой, она нагнулась к нему, растерявшись от неожиданности, – так много было в нем обдуманной злобы, яда и издевательства.

«Милостивая государыня, Госпожа Евгения Алексеевна.

Не знаю, прилично ли молодой девушке из благородных (хороши благородные) таскаться с женатым человеком. Вас, видно, этому обучают. Скажите, как вам не стыдно. Если вы так ведете себя, значит, хороши были ваши родители. Аполлоша мне все рассказал. Некрасиво довольно с вашей стороны, барышня. Хотя мы и не венчаны, а живем, слава богу, четвертый год. А я отбивать своего мужчину не позволю. Если вы в него влюблены, советую забыть, треплите хвост в другом месте. На интеллигентность вашу никого вы себе не поймаете, лучше оставьте про себя.

Готовая к услугам Мария Тихонова».

Прочитав до конца, Евгения Алексеевна опустила руки и беспомощно осмотрелась. Болезненный, нервный смех душил ее. Она даже не сразу поняла, от кого это письмо. Отдельные фразы, и наиболее оскорбительные, одна за другой появились перед нею в воздухе, как на экране, подавляя своей внушительной безапелляционностью; это походило на сон, в котором, желая бежать от страшного явления, не можешь двинуться с места. Она даже подумала, не мистификация ли это того же Чепракова, грубая, сумасшедшая, но все же мистификация; однако трудно было придумать нарочно что-либо подобное такому письму. Старый страх перед жизнью охватил девушку, она угадывала, что человек роковым образом беззащитен душой и телом; и даже у Зигфрида, с головы до ног покрытого роговой кожей, было на спине место, величиною с древесный лист, пропустившее смерть. Вся печально-смешная сцена третьего дня, с «бурса мукозой» и целованием рук, ожила перед девушкой; жгучая краска стыда залила ее с ног до головы при мысли, что – это было более всего – случайная ее откровенность

известна Марии Тихоновой в подозрительной передаче, приобретая смысл нелепо позорный и вызывающий, вероятно, хихиканье.

Евгения сидела у себя наверху одна, и это помогло ей оправиться от оскорбительной неожиданности. Случись такая история лет на пять позже, она, должно быть, отнеслась бы, внешне, к этому несколько иначе: или совсем не ответила бы на письмо, или написала бы спокойный, внятный ответ. Но в теперешнем своем возрасте она не научилась еще взвешивать обстоятельства, продолжая считаться с людьми близко и очень подробно, до конца. Адрес Тихоновой в письме был; автором, видимо, руководило известное любопытство вызова. Евгения Алексеевна посмотрела на часы: шесть. Желая прекратить лично и как можно скорее то, что она еще считала недоразумением, девушка, приколол шляпу и взяв письмо, сошла вниз.

Ей предстояло одолеть четыре версты пешком; не было никакого предложения сказать, чтобы запрягли лошадь. Она вышла с заднего крыльца на деревню, обернулась, посмотрев, не следит ли за ней кто из домашних, и быстро направилась к городу, видимому уже с ближайшего холма красным пятном казенного винного склада, белыми колокольнями и садами. Волнение не покидало ее, наоборот: чем ближе она подходила к темным заборам Сабурова, тем нестерпимее казалось медленно сокращающееся расстояние. Девушка была твердо уверена, что заставит слушать себя и что ей дадут все нужные объяснения.

Наконец, она вошла в город. Евгения бывала здесь раньше. Ступая по нетвердым доскам тротуаров, густо обросших крапивой с ее острым, глухим запахом, девушка вспомнила один вечер, когда, возвращаясь с концерта заезжего пианиста в гостиницу, где поджидал ее, чтобы уехать вместе, Павел Павлыч, неторопливо шла по улицам. Городок засыпал. Еще светились кое-где красные и лиловые занавески; на высокой голубятне сонно гурлили голуби; на площади, у всполья, доигрывали последнюю партию в рюхи слободские мещане; старый нищий, стоя в темноте на углу, разводил, бормоча нетрезвое, руками; из раскрытых окон квартиры воинского начальника неслась плохо разученная «Молитва девы»; мужики, сидя на тумбочках у трактира, галдели о съемных лугах. От оврагов веяло сыростью ледяных ключей. Чистый блеск звезд теплился над черными крышами. У пристани, бросая мутный свет фонарей в мучные кули, стоял пароходик «Иван Луппов»; мачтовые огни его против черных, как разлитые чернила, отмелей противоположного берега казались иллюминацией.

Она вспомнила эту мирную тишину, удивляясь обманчивости тишины, ее затаенным жалам; ей было даже неловко идти со своим возмущением среди маленьких, опрятных, в зелени, домов, покосившихся, хлипких лачуг, деревенской пыли, безобидной желтой краски и дремлющих мезонинов. Разыскав дом и улицу, Евгения с тяжелым нервным угнетением, наполнившим ее внезапной усталостью, позвонила у желтой парадной двери. Ей открыла унылая беременная женщина.

– Госпожа Тихонова дома? – спросила Евгения, и вдруг ей захотелось уйти, но она перешила страх. Женщина, разинув рот, смотрела на нее; это было нелепо к тяжко.

– А я сейчас... они дома, – сказала, скрываясь в сенях, женщина.

В окне, сбоку, метнулось приплюснутое носом к стеклу лицо с выражением жадного любопытства.

– Просят вас, – сказала, возвратясь после томительно долгих минут, унылая женщина. Она широко распахнула дверь и устала на Евгению, как бы сторожа ее взглядом. Девушка, глубоко вздохнув, вошла в низкую комнату с канарейками, плющом и венскими стульями. У дальней двери, скрестив на высокой груди пышные, как булки, руки, стояла чернобровая, с розовым лицом, дама в сером капоте.

– Кого имею честь?.. – процедила дама, осматривая Евгению Алексеевну.

Девушка заговорила с трудом.

– Я – Мазалевская, – сказала она, сжимая пальцы, чтобы сдержать волнение, – я хочу вас спросить, почему вы, не дав себе труда... Вот ваше письмо. – Она протянула листок гордо улыбающейся Тихоновой. – Пожалуйста, объясните мне все, слышите?

– И при чем тут труд? – громко заговорила дама, внушительно двигая бровями. – И нечего мне вам объяснять. И нечего мне говорить с вами. А что Аполлон передо мной свинья, это я тоже знаю. И уж, если, поверьте мне, милая, мужчина говорит: «Ах, ах, ах! Она имеет ко мне склонность», – да если завлекать человека разными там материями, то уж, простите, нет; ах, оставьте. Я не девчонка, чтобы меня за нос водить. И более всего удивляюсь, что вы даже пришли; это так современно, пожалуйста.

У девушки задрожали ноги, она посмотрела на Тихонову взглядом ударенного человека и растерялась.

– Ну, послушайте, – задыхаясь, выговорила она, – это бессмысленно, разве же вы не понимаете? Я...

– Где же уж понимать, – сказала дама, – мы – уездные.

Евгения не договорила, повернулась, вышла на улицу и разрыдалась. Стараясь удержаться, она поспешно прижимала ко рту и глазам платок; машинально шла и машинально оставалась; редкие прохожие, оборачиваясь, смотрели на нее подолгу, а затем переводили взгляд на заборы, деревья и крыши, словно именно там скрывалось нужное объяснение; один сказал, гаркнув: «Что, сердешная, завилило?» Осилев спазмы, девушка увидела Чепракова, он переходил улицу, направляясь к квартире Тихоновой. Нисколько не удивляясь тому, что случайно встретила этого человека, скорее даже с чувством облегчения, Евгения Алексеевна остановила его на углу. Чепраков, перестав махать тросточкой, снял фуражку, попятился и замигал так тревожно, что нельзя было сомневаться в том, что о письме он знает.

Чепраков, выдавая себя, молчал, не здороваясь, даже не притворяясь удивленным, что видит Мазалевскую в городе.

– Вы знаете про письмо? – сурово спросила девушка.

Чепраков, изгибаясь, развел руками.

– Я... я... я... – спутался он. – Я хотел ее посердить.

Евгения Алексеевна пристально посмотрела в его спрятавшиеся глаза, махнула рукой и пошла из города медленной походкой усталого человека.

V

Прежде, чем выйти к чаю, Евгения тщательно умылась холодной водой и подошла к зеркалу. Следы недавнего расстройства исчезли. Причесываясь, окутав себя пушистыми, ниже колен, волосами, девушка в сто первый раз переживала этот, неизгладимый в ее возрасте, случай, но все тише, все ближе к спокойной грусти. Она уже не возмущалась, а недоумевала. В ее жизни, проходившей в тени, было похоже на это случаем место и ранее, но не образовалось привычки к ним, – она переживала их каждый раз всеми нервами; нечто похожее на боязнь людей выработалось в ней постепенно и незаметно. Она и сейчас уловила резкое пробуждение этого чувства.

– Чего же бояться? – вслух сказала Евгения Алексеевна, пытаясь понять себя. Воспоминания образно показывали ей, что страшно незаслуженно злое отношение людей, злорадство и бессознательная жестокость, от которых не защищен никто. Она вспомнила несколько примеров этого по отношению к себе и другим... Особенно ясно Евгения Алексеевна увидела себя на улице Петербурга и в Крыму.

На улице, поравнявшись с девушкой, человек, внушительной и степенной осанки, остановился, ударил ее очень сильно кулаком в грудь и спокойно прошел, даже не обернувшись. А в Крыму, за пансионным столом, во время обеда, упитанный щеголь-коммерсант, еще моло-

дой человек, блистающий кольцами и алмазами, очень хорошо видя, что слова его неприятны и возмутительны, спокойно говорил о своих кражах во время Японской войны, обращаясь к любовнице и другу-проводнику. Изредка он обращался и к остальным.

– Вы просите перестать? Ну, что вы! Вы жертвовали на раненых, а эти деньги у меня в кармане. Сорок тысяч.

Евгения Алексеевна, сойдя вниз, выпила крепкого чаю. Обычный, почти беспредметный разговор с родственниками она вела машинально.

– Женечка, – сказала под конец, как бы невзначай, Инна Сергеевна, – позавчера Аполлон... мне показалось... вы не поссорились?

– Нисколько. – Она спокойно посмотрела на тетку и улыбнулась.

Уже смеркалось, когда, желая побыть одной, Евгения обогнула полный облаков пруд. Она шла опушкой, сумеречные поля открывались слева, под утратившей блеск сонной синевой неба птицы глухо перекликались в лесу, опущенное забрало полутьмы скрыло его низкие дневные просветы. У изгороди дергал коростель. Евгения остановилась, пустынная тишина окрестностей понравилась ей; она стояла и думала.

– Ложись спать, – сказал позади голос, – хотя ты дятел и рабочая птица, однако береги силы.

Мазалевская вздрогнула и повернулась к невидимому оратору. Его не было видно, он сидел или лежал в темных кустах.

Дятел, не переставая, звонко долбил дерево.

– Несговорчивый, – продолжал голос, – хотя бы ты обучился моему языку. А-мм-меэм-ма-ам, а-ам, ме-е. Хохлатик.

Голос смолк, а из кустов вышел человек с котомкой за плечами, в старом картузе, лаптях и с клюкой, вроде употребляемых богомольцами; он хотел перескочить изгородь, но, заметив Евгению, скинул картуз и протянул руку.

– А-м-м-мее-ма-а-ам-ме-е, – промычал он, показывая на рот.

– Немой? – спросила Евгения.

Человек кивнул, выразительно смотря на руку и кошелек барышни.

– Хоть ты и рабочая птица, – неожиданно для себя сказала Евгения, протягивая мелочь, – однако береги силы.

– Подслушали, – вдруг произнес совершенно отчетливо мнимый немой и конфузливо усмехнулся.

– Это вам для чего же?

– Есть надобность, – уклончиво сказал человек.

– Вы не бойтесь меня, – подумав, сказала Евгения. Любопытство ее было сильно задето.

Человек осмотрелся.

– Так что же, неинтересно вам ведь, – неохотно заговорил он. – Просто беглый солдат. Невелика птица. Видите – паспортишко есть, купил кое-где, но, извините, – брехать не умею. На ночлеге же, известное дело, или на меже где, мужик напоит, – поболтать любят, интересуются прохожим. Ну, понимаете, – проврешься, а особенно на ночлеге. Опасно. Я от одного железнодорожного сторожа бегом спасался; охотиться, видите ли, за мной старик начал, а что ему в этом? Разумеется, подумав, прикинулся я немой, так и иду. В Одессу. Там у меня знакомые есть; устроят. За месяц, верите ли, десятка слов не сказал с людьми, иногда разве поболтаешь сам с собой от скуки; да вот вы, вижу, вреда не сделаете, – заговорил.

– Не сделаю, – рассеянно подтвердила Евгения.

– То-то. Спасибо за мелочишку.

Соткин перескочил изгородь, махнул картузом и зашагал, встряхивая котомкой, к деревне.

– Ну, слава богу, – сказала Евгения, подымаясь на крыльцо усадьбы, – теперь я, пожалуй, тоже кое-что знаю.

Она думала, что надо жить подобно этому солдату, что человек, скрывший себя от других, больше и глубже вникнет в жизнь подобных себе, подробнее разберется в сложной путанице души человеческой. Это бродило в ней еще смутно, но повелительно. Она начинала понимать, что в великой боли и тягости жизни редкий человек интересуется чужим «заветным» более, чем своим, и так будет до тех пор, пока «заветное» не станет общим для всех, ныне же оно для очень многих – еще упрек и страдание. А людей, которым и теперь оно близко, в светлой своей сущности – можно лишь угадать, почувствовать и подслушать.

Циклон в Равнине Дождей

I

– На запад, на запад, Энох! Смотрите на запад! – прокричал Кволль, стремительно проносясь мимо. Его белый парусиновый пиджак вздувался на спине пузырем от ветра, с ровным, унылым гудением стлавшегося по полю. Дрожки Кволля подпрыгивали, как угорелые, и чуть не опрокинулись, зацепившись за глубокую колею.

Почти в тот же момент Кволль, дрожки и лошадь скрылись в облаках едкой, красноватой пыли, поднятой копытами. Энох вытер рукавом пот и поднял голову; то же, но быстрее его, сделали два сына его, работавшие с ним.

– Жип, – сказал фермер, – кто кувыркался тут по дороге и кричал, что надо смотреть на запад?

– Кволль, отец, – ответил Жип, бросая лопату. – И он прав, в другой раз за деньги не увидишь того, что теперь делается. О-ох! – вскричал он, – да, это плохие шутки!

Три пары широко раскрытых глаз устремились к закату, и три вдоха соединились в один.

Солнце стало неярким. Низко над горизонтом, тускло и мрачно смотрело оно на желтую кукурузу Эноха; невидимая тяжесть ложилась от его красного диска на струящееся море стеблей, и низкие, как отколовшиеся пласты неба, облака приняли красный оттенок меди. Западная часть неба покраснела и стала мутной, словно за сто миль обрушились миллионы возов кирпичного щебня. Свет исчез: прямой, лучистый свет солнца превратился в прозрачную, красноватую муть, мгновенно лишая красок яркую зелень придорожных канав, ставших вдруг серыми, словно их облили купоросом. Затих ветер, земля, пропитанная удушьем, молчала. Отчаянно голося, хохлатый удод взлетел вверх, забил крыльями и пустился наперерез поля.

– Риоль! – сказал младшему брату Жип, – я как будто рассматриваю тебя сквозь красное стекло.

Энох, покрытый смертельной бледностью, с проклятием поднял руки и взмахнул сжатыми кулаками. Все кончено! Труды целого лета, постоянное беспокойство, мечты о покупке земли – все превратится в вороха смятой соломы и обломки изгородей. Ну-ну! Он не ожидал этого.

Закат неудержимо притягивал его гневные, испуганные глаза. Отвратительный, красный пожар неба напоминал чью-то огромную, поднятую для удара ладонь.

Риоль тяжело вздыхал, судорожно почесывая затылок. Ноздри у Жипа бешено раздувались, он пристально посмотрел на отца и коротко рассмеялся. Фермер побагровел.

– Идиот! – заревел он. – Улыбнись-ка еще!

Жип стиснул зубы. Трепет, похожий на зуд и смех, проникал во все его существо. Его горе, мучившее его бессонницей и тяжелыми ночными слезами, казалось, нашло себе выход в притаившемся неистовстве атмосферы. Он не боялся, а наоборот, замер в бессознательном ожидании немедленного и грозного разрешения.

– Марш домой! – проворчал старик. – С богом плохие шутки. Это за грехи, слышишь, Риоль?

Охваченный отчаянием, он сразу осунулся и медленно шагал с непокрытой головой по дороге, изредка останавливаясь, чтобы бросить на запад взгляд, полный тоски и страдания. Риоль шел следом, испуганный, молчаливый; Жип замыкал шествие.

В полях, заворачивая и свивая метелками верхушки кукурузных стеблей, уже крутились маленькие, сухие вихри. Восток тонул в ранних сумерках, и сумрачно скрипели деревья, кланяясь обреченным полям.

– Риоль, – сказал Жип, – ты, конечно, поспешишь к Мери? Передай ей, что я озабочен ее участью не менее, чем своей. Всем нам грозит смерть.

Юноша с тоской посмотрел на брата.

– Ее не тронет, – убежденно проговорил он. – Мы – другое дело. Мы, может быть, заслуживаем наказания. А она?

– Риоль, – быстро проговорил Жип, – ты знаешь – мне весело.

Риоль вспыхнул. Поведение брата казалось ему предосудительным.

– Веселись, – сдержанно сказал он, прибавляя шагу, потому что налетевший порыв ветра толкнул его в спину. – Мне жалко людей. Жип, – что будет с ними?

– Ничего особенного. Поотрывает головы, снесет крыши.

– Жип! Безбожник! – закричал Энох, оборачиваясь и потрясая заступом: – Я проломлю тебе череп и наплюю на то, что ты мне сын! Какой черт вселился в тебя?

– Бежим! – простонал Риоль. – Бежим. Слышите, слышите?!

Далекий ревущий гул обнял землю. Энох остановился, ноги его подкосились и задрожали. Ему казалось, что тысячи поездов летят изо всех точек горизонта к центру, которым был он.

– Бежим! – подхватил он.

И все трое пустились стремглав к видневшейся невдалеке крыше фермы, дыша, как загнанные, очумелые лошади.

II

Первый удар циклона со стоном и лязгом рванул землю, замутив воздух тучами земляных комьев, сорванными колосьями и градом мелкого щебня. Ревущая ночь слепила, валила с ног, била в лицо. Жип лег на землю ничком и некоторое время пытался сообразить, в каком направлении лежит ферма. Затем, сдвинув на лицо шляпу, решил, что лучше и безопаснее остаться пока здесь, в поле, где нет стен и твердых предметов.

– Отец! Риоль! – вскричал он, пытаясь рассмотреть что-нибудь.

Разноголосый вой бешено прихлопнул его слова, точно это был не крик человека, а стон мухи. Крутящаяся тьма неслась над спиной Жипа. Он встал, повинувшись безумию воздуха и чувствуя, что неудержимое возбуждение организма толкает его двигаться, кричать, что-то делать. Но в тот же момент, как подстреленный, хлопнулся в дорожную пыль и покатился волчком, инстинктивно защищая лицо. Идти было невыносимо. Он лег поперек дороги, упиравшись то ногами, то руками, в то время, как вихрь перебрасывал его по направлению к ферме.

Так прошло несколько минут, после которых все тело Жипа заныло от ссадин и ударов о почву. Временами он думал, что наступает конец мира, все умерли и только он, Жип, еще борется с безумием воздуха. Попав в канаву, Жип заметил, что циклон несколько ослабел. Быть может, то был случайный, ничего не значащий перерыв – трагедии, но ветер дул ровно, с силой, не угрожающей пешеходу смертью или полетом в воздухе.

Жип сделал попытку – встал и, с усилием, но устоял на ногах. Вихрь гнал его вперед, не давая остановиться. Он пробежал несколько саженей и с размаха ударился локтем о что-то твердое. Быстрее молнии другая рука Жипа обвилась вокруг невидимого предмета: это был столб или дерево.

– Улица, – сказал Жип, задыхаясь от вихря.

Теперь его самым мучительным желанием было отыскать Мери живую или лечь рядом с ее трупом. Жип побежал в сторону, тыкаясь о разрушенные стены; непонятная, почти ликующая

щая ярость руководила его движениями. Это было временное безумие, восторг ужаса, но все совершающееся вокруг казалось Жипу давно ожидаемым и почему-то необходимым.

– Мери! – кричал он, падая и вскакивая, – Мери! Риоль!

III

Катастрофы полны неожиданностей, и крутящая сумятица ощущений в сердцах людей не дает им времени вспомнить впоследствии фактическую цепь событий, потому что все – земля и небо, и ум, потрясенный бешенством окружающего, – одно.

Тьма бледнела. Вся мелочь, весь земной мусор, труды людей, превращенные в грязный сор, пронесли и очистили воздух, ставший теперь серым, как лицо больного перед лицом смерти. Превращенная сила воздуха густела над опустошенной равниной, и облака, не поспевая за ветром, рвались в клочки, как паруса воздушного корабля, гибнущего на высоте.

Жип перешагнул кучу бревен; помутившиеся глаза его остановились на лице Мери. Она сидела на корточках, прижавшись к уцелевшей части стены, Риоль сидел возле нее, прижавшись к коленям девушки, как зверь, ищущий защиты.

– Остатки людей, остатки имущества! – прокричал Жип, нагибаясь к Риолю.

– Все кончено, не так ли, Мери? Все кончено.

– Все кончено! – как эхо отозвалась девушка.

– Мери, – продолжал Жип, – уйдем отсюда! Я пьян сегодня, пьян воздухом и не знаю, слышишь ли ты меня, потому что мой голос слабее бури! Брось этого размазню Риоля! Мы построим новый дом на новой земле.

– Ты – сумасшедший! – сказал Риоль, расслышав некоторые слова Жипа. – Пошел прочь!

– Мери! – продолжал Жип. – Я не знаю, что делается со мною, но я несколько не стыжусь братца. Я при нем говорю тебе: когда он еще не целовал твоих рук, я любил тебя!

– Жип! – тихо сказала Мери, и Жип почти прижался щекой к ее губам, чтобы расслышать, что говорит девушка. – Жип, время ли теперь заводить ссору? Мы можем умереть все. Все разорены, Жип!

Жип прислонился к стене. Из груди его вырывалось хриплое, отрывистое дыхание; разбитый, осунувшийся, с кровавыми подтеками на лице, он был страшен. Но в душе его совершалось странное торжество: обойденный любовью, этот угрюмый парень радовался разрушению. В отношении его была явлена справедливость, – он понимал это.

– Кволли, Томасы, Дриббы и им подобные! – кричал он, приставляя руку ко рту: – Да, я давно знал, что пора это сделать по отношению ко всей этой дряни! Кто смеялся на похоронах Рантэя? Кто ограбил мать Лемма? Кто сделал подложные свидетельства на аренду Бутса и выудил у него процессами все денежки? Кто довел до чахотки Реджа? Послушайте, есть справедливость в ветре! Я рад, что смело всех, рад и радуюсь!

Он продолжал бесноваться, притопывая ногой в такт словам. Девушка плакала.

Риоль вынул револьвер.

– Жип, – сказал он, – уйди. Ты враг нам. Уйди или я застрелю тебя. Сегодня нет братьев – или друзья, или враги. Уйди же!

– Жип! Риоль! – воскликнула Мери.

Новая туча каменного града, сухих веток и стеблей кукурузы обрушилась на головы трех людей. Жип вынул револьвер, в свою очередь.

– Если это правда, – прокричал он, – то я ведь никогда не был неповоротливым! Сегодня все можно, Риоль, потому что нет ничего, и все стали, как звери! Прочь от этой девушки!

Мери встала, белая, как молоко.

– Убей и меня, Жип, – сказала она.

– О – ах! – вскричал Жип: – Люби мертвого!

И он выстрелил в грудь Риолю. Юноша повернулся на месте, затрясся и медленно упал боком. В тот же момент худенькая рука Мери с силой ударила Жипа по лицу, и он взвыл от ярости.

– Пусти же, подлец! – сказала девушка.

Но он уже ломал ее руки, притягивая к себе, приведенный в неистовство кровью, лязгом циклона и беззащитным девичьим телом. И вдруг, как разбежавшийся тапир, сраженный ядом стрелы, – упал вихрь. В воздухе еще кружилась солома, пыль, щепки, но все это падало вниз подобно дождю. Настала гнетущая тишина.

Жип вздрогнул и выпустил девушку. Это было ощущение чужой руки, опущенной на плечо. Закачавшись, с внезапной слабостью во всем теле Жип выбежал на дорогу.

Он увидел взлохмаченные, исковерканные, обезображенные поля, снесенные крыши, жилища, развалившиеся по швам, как ветошь; домашнюю утварь, разбросанную в канавах, сломанные деревья; одинокие фигуры живых.

И только что пережитое хлынуло в его душу тоскливой жалобой небу, земле и людям.